

Осень

повесть

Была осень. Тихо шелестел мелкий дождь, добавляя черноты и без того непроглядной ночи и тяжести напитанному влагой воздуху. Сырости, казалось, не будет конца. Она наваливалась, давила, словно нечистая сила. От черноты ночи, проникавшей внутрь, стыла душа и ныли старые кости. Громоздкие тучи, до отказа забившие небо, опускались всё ниже, словно собирались поглотить и землю, и небо целиком. Завладев берегами Идели, она со всех сторон обложила пароход, упрямо в полном одиночестве вспарывавший носом кромешную тьму. На иную жизнь вокруг не было даже намёка. Мир, покорный черноте, похоже, с головой ушёл в тучи, увяз в них. Лишь пароход сопротивлялся из последних сил, кряхтя и издавая надсадные звуки, напоминавшие предсмертный хрип висельника. Но как ни артачился он, сиюсь одолеть тьму, как ни хрипел, ни стонал, ему это удавалось плохо. Туман становился всё плотнее. След пропадал, а просвета впереди не было.

Чтобы не дышать сырым воздухом и не видеть непроницаемого мрака за окном, Нафиса сидела, забившись в угол каюты. Она читала, витая в сладком мире мечты. Дети, ещё вчера целый день носившиеся по палубе, а вечером не устававшие смотреть на сияющие огнями встречные пароходы и скользящие по течению плоты, теперь сидели в каюте, куда загнал их густой туман. Они занялись куклами, женили их, устраили свадьбу, изобразив из себя сватов, и понарошку угощали друг друга. Сегодня на пароходе было непривычно тихо, словно люди исчезли куда-то. Музыка из ресторана не слышалась, звонки из кают, дёргая то и дело прислугу; не раздавались; и гармонь в нижних классах протяжных песен не наигрывала.

Пароход, жалобно крича и кряхтя, стоял на месте. Вот откуда-то, будто издалека, послышался звук. Нафиса оторвала взгляд от книги. За окном, с трудом одолевая темень, проплыл фонарь. Послышался шум. Засветился красный огонёк. Пароход заскрипел снова. Донеслись голоса. Где-то мерцали огоньки — то слева, то справа. Пароход скрипеть перестал. Нафиса

прислушивалась к далёким голосам, стараясь разобрать, о чём говорили люди. В дверь постучали и открыли. На пороге стояла женщина с двумя чемоданами в руках, а за ней двое детей. Она сощурилась, словно яркий свет резал ей глаза, будто извиняясь за то, что нарушила покой и внесла с собой столько сырости, спросила по-русски:

— Простите, здесь есть свободные места?

Вид незнакомки в промокшей насквозь и прилипшей к телу одежде, с покрасневшими руками и тонкими синими губами, а также дрожащих от холода детей, вызвал в Нафисе сострадание, на какое способны только женщины, и она сказала торопливо:

— Есть, есть, мы занимаем только два места, вот эти два свободны.

Глядя на женщину, которая, медленно войдя, принялась раздевать промокших детей, спросила по-русски:

— Как называется эта пристань?

Женщина, не оборачиваясь, сказала:

— Богородицкая. Мы двенадцать часов ждали парохода, продрогли совсём.

Один из детей незнакомки, скинув промокший бишмет, подошёл к детям Нафисы. Те, взглянув на него, продолжали играть:

— Это будет сватья, а это — главный сват. Этот пусть будет отцом.

Мальчик, наблюдавший за ними, спросил:

— А где же у отца бутылка?

— А зачем ему бутылка? — возразили дети. — Он же доктор.

— Нет, у отца должна быть бутылка, — не сдавался мальчик, — пусть отец пьёт.

Нафиса встретила глазами с матерью детей. Обе улыбнулись. Женщины почему-то сразу же прониклись взаимной симпатией. «Куда едете? Откуда?» — заговорили они, перейдя на родной язык. Дети тоже стали играть вместе. То ли оттого, что Нафиса чувствовала себя в каюте хозяйкой, то ли из жалости, она спросила:

— Чаю хотите? Можно заказать. Думаю, пока не поздно.

Женщина выразила согласие. Нафиса сделала заказ и накрыла стол. Обе достали из корзины еду и стали угощать друг друга, забыв о непогоде за окном и о пробирающей до костей сырости.

Напившись чаю, дети ещё долго играли в куклы, а, утомившись, быстро уснули, зато матери их спать не спешили. Нафиса испытывала искреннее сочувствие к попутчице и её детям, ей хотелось узнать о них больше. Она задавала вопросы. Сначала женщина отвечала односложно, но, разговорившись, стала откровенней.

Оказалось, что она была любимой дочкой богатого мурзы, получила хорошее воспитание, закончила институт и даже училась пению у специального педагога. Желавших жениться на ней было много. Она сама не знает почему (видно, такова уж её злосчастная судьба), замуж вышла за теперешнего мужа. Родила четверых детей. Двое, слава Аллаху, умерли рано, избавились. Остались двое. Словно подтверждая её слова, один из детей вдруг испуганно вскочил с криком: «Мама, мама! Папа идёт, папа!» Мать уложила его, ласково успокоила.

— Кто же он, муж твой?— спросила Нафиса.

Женщина долго молчала.

— Как вам сказать? Муж мой... — она помолчала снова. — Когда женился на мне, был офицером... Потом его уволили... Приданое у меня было большое. А потому служить больше не стал. Очень много денег перевёл... Дела у нас расстроились. Помогли ему стать земским начальником... Попал под суд, выпутался ценой очень больших денег... Но этого мало: он сильно пьёт... Оставалось у нас немного земли, мельница. Мне сообщили, что он собирается продать это. Вот еду туда... Что же я буду делать с детьми, если останусь ни с чем? — сказала она и тяжело вздохнула...

Нафису тронуло признание незнакомки, которая стала готовить себе постель, видимо, решив, что разговор окончен.

Нафиса тоже достала постель.

А дождь всё лил и лил, не переставая. Пароход по-прежнему шлёпал колесами, его унылый, хриплый гудок не мешал женщинам, поглощённым печальными размышлениями.

Некоторое время лежали молча, пытаясь уснуть, но сон не шёл, и они заговорили снова. Им почему-то хотелось излить друг другу свои горести и радости — всё, что было спрятано у них глубоко внутри. От настоящего перешли к воспоминаниям, заговорили о любви, о свадьбе.

— А как вы замуж выходили?— спросила женщина.

Нафиса, не долго думая, опершись о подушку, начала свой рассказ. Глаза её при этом улыбались, лицо, казалось, озарилось светом, голос зазвучал как-то по-особому мягко. Глядя на неё, собеседница поняла сразу: судьба этой женщины совсём не похожа на её собственную — и стала внимательно слушать.

«Родилась я в Оренбурге в семье купца средней руки. Получила мусульманское образование. Училась хорошо. Русскому языку меня обучила русская женщина, которая приходила к нам домой. Но поскольку я жила в городе, язык этот был немного знаком мне. Могла читать и способна была понимать книги. Некоторые девочки, жившие по соседству, учились в гимназии. Очень нравились мне их переднички и серые платья, но отец у меня был человеком старой закалки, о гимназии и слышать не хотел. В свои семнадцать—восемнадцать лет я считалась уже взрослой девушкой. Временами мне говорили: «Сваха Сахиба приходила. Вахит-бай просит тебя за своего сына. Главный сват у них уважаемый кари-хальфа, знающий Коран наизусть». Мне такие новости были неинтересны — как говорится, в одно ухо вошло, в другое вышло.

В театре как-то давали новую вещь. Отец, хотя и не ходил в театр, нам с братом бывать там не запрещал. Но всякий раз в ложу нашу отправлял с нами либо соседку Марфугу, либо разносчицу Фахрию.

В тот раз ложи оказались распроданы, и брат купил два билета в

партер. Отец очень огорчился. «Не позволю,— сказал,— там одни болваны-недоросли, нечего якшаться с ними!» Но нам очень уж хотелось, и мама поддержала нас. Пошли мы. Отец крикнул в доганку:

— Будьте осторожно, за кулисы не ходите!

Сели на свои места. Перед самым началом справа от меня место занял какой-то русский. В Оренбурге у нас русские нередко бывают в нашем театре, поэтому я не обратила на него внимания. Слева сидел брат, я была спокойна, зная, что никто не сможет наябедничать отцу, будто я сидела рядом с чужим.

Начался спектакль. Мы были поглощены происходящим на сцене. Во время паузы взглянула на русского соседа. Он смотрел на сцену, ничего не замечая вокруг... Я была удивлена: откуда у русского такой интерес к татарскому спектаклю? Но вот занавес опустился. Лампы пригасили. Глаза, привыкшие к яркому свету, как-то освоились не сразу. Всюду светились стёкла биноклей, издали знакомые кивали друг другу. Брат мой в ту пору курить учился. Воспользовавшись антрактом, он испарился куда-то. Я стала забавляться биноклем. Вдруг сосед обратился ко мне по-русски:

— Простите, туташ, не могли бы вы дать мне программу? Я пришёл поздно, и программ уже не было.

— Пожалуйста! — сказала я и стала внимательно разглядывать соседа. Я и теперь помню, как он выглядел... Тёмный костюм, шёлковый галстук, который, переливаясь, становился то голубым, то чёрным, белоснежной воротник, задумчивые глаза. Он заметил:

— Артистка, которая играет учительницу, очень хороша. Похоже, на сцене она давно.

Я, что знала, рассказала ему о труппе. Он ответил:

— Вы, туташ, счастливый человек, живёте среди своих, можете разделять радости народа. Я живу на чужбине и театра своего не видел уже целый год... Об этой пьесе я не знал ничего. Даже не слышал... Это же так плохо...

После этих его слов стало ясно, что никакой он не русский, просто живёт где-то далеко среди русских. И всё же старается не забывать своих. Мне стало жаль его.

— Так что же мешает вам жить среди татар?— спросила я.

— Не могу. Я доктор, окончил институт только в прошлом году. А сейчас призван в армию, обязан ехать туда, куда пошлют.

Тут раздался звонок. Занавес открылся. Внимание моё раздвоилось: одним глазом смотрю на сцену, другим — на соседа. Однако он, казалось, забыл о моём существовании, всё его внимание было на сцене. Он просто жил спектаклем: смеялся, когда смеялись там, и грустил, когда на сцене изображали печаль. В антракте сосед снова рассказывал мне о том, что жить среди русских ему неинтересно, что через три месяца он освободится от армии и собирается обосноваться в одном из таких городов, как Казань, Оренбург, Астрахань. Он поинтересовался:

— Вы кто? — И узнал, как меня зовут.

Через некоторое время предложил:

— Не хотите ли выпить что-нибудь в буфете?

— Спасибо, — сказала я, — вы же знаете, народ наш пока смотрит на подобные дела с осуждением. Отец терпеть не может, когда молодые ходят парами. Простите, я не могу.

— А я пойду. Я только что с поезда. На вокзале увидел театральную афишу и поспешил сюда, даже поесть не успел, — сказал он и вышел.

Меня охватило какое-то неведомое доселе чувство. «Как живётся этому джигиту среди русских? — думала я с беспокойством. — Кто будит его по утрам к чаю? Как проводит время в праздничные дни? Не страдает ли от одиночества?»

Думала я так, и мне вдруг пришло на ум, что у джигита, возможно, есть русская любовница. Известно, что молодёжь у нас любит баловаться. Но подозрение быстро пропало. Брат, докурив свою папиросу, ко мне не спешил,

зато сосед отсутствовал не долго. В руке у него была довольно большая плитка шоколада. Он сел и, развернув шоколад, сказал, протягивая мне:

— Прошу вас, туташ!

У нас принимать угощение от джигитов не принято, но я подумала, что огорчу его, если откажусь, и, поблагодарив, взяла. Тем временем вернулся и брат.

— Этот джигит доводится вам братом?— спросил сосед и, получив утвердительный ответ, предложил шоколад ему тоже. Видимо, подумав о запахе курева изо рта, брат взял угощение с удовольствием.

Началось третье действие. Сосед мой снова забылся, увлѣкшись спектаклем. Я, хотя и относилась к нему с симпатией, всё же мне было странно, что он так страстно реагирует на пьесу, просто воспаляется ею. Вот спектакль дошёл до самого жалостного места. У меня на глаза навернулись слѣзы, но, стесняясь соседа, я сдерживала себя. Скосила глаза на него — и что я вижу! — по щекам джигита текут слѣзы! Я испытала двойное чувство — хотелось и утешить его, и пристыдить. Уловив мой взгляд, он покраснел и отвернулся.

Занавес закрылся. Народ хлопал очень долго, возможно, для того, чтобы дать слезам просохнуть. Сосед мой как-то робко снова предложил мне шоколад. Посмотрев ему в глаза, я будто заглянула в душу джигита, и перестала стесняться. Сама не знаю почему, вдруг заговорила о себе. Стала рассказывать то, чего не говорила никому, — маленькие секреты нашей семьи.

Было объявлено, что после спектакля будет показан юмор. Мы остались. Перед самым открытием занавеса, сосед сказал:

— Плитка шоколада неполная, но вы всё же возьмите её.

— Большое спасибо, простите меня, только не обижайтесь, у нас это не принято. Меня просто со света сживут допросами: кто да откуда.

— Понимаю, понимаю... Вот в чём трагедия наша,— сказал он.

Через некоторое время спросил:

— Смогу ли я снова увидеть вас, туташ?

Я, не задумываясь, сказала:

— Через два дня снова спектакль, я не пропускаю ни одного.

После представления, прощаясь, он сказал:

— Проводить вас, небось, тоже не дозволено, туташ?

— Да, это правда, — сказала я.

Впервые в жизни почувствовала я себя угнетённой нашими обычаями...

Перед расставанием он долго пожимал мне руку. Я покраснела... Он вышел раньше и почему-то стоял у выхода, ожидая меня. Мы посмотрели друг на друга и таким образом простились.

В ту ночь мне снились какие-то сладкие сны. Я не могла дождаться следующего спектакля. Вот настал, наконец, желанный вечер. В этот раз за нами увязалась старая Марфуга-эби. Я принялась уговаривать её остаться.

— А что там сегодня?— поинтересовалась она. — Разве дочки Фахри-мурзы не будут плясать в обнимку с мужчинами?

— Нет. Танцев сегодня не будет.

— Ну, коли так, собираются только болтать, такое я и сама могу показывать,— сказала она и решила пойти к своей приятельнице — старухе-разносчице. Мы отвезли её на лошади, пообещав захватить на обратном пути, а сами отправились в театр.

Места наши были в ложе. Едва оказавшись в ней, я принялась высматривать в толпе своего знакомого. Он сидел в партере — рядом два места были свободны — и тоже искал меня глазами. Увидев друг друга, поздоровались кивком головы. Он смотрел растерянно, будто говоря: как же это, я здесь, а вы там? Вот он встал и вышел. Я боялась, что появится в нашей ложе, ведь кругом были люди, знавшие меня. Долго ли тут до сплетни? Раздался звонок, огни погасли. Занавес ещё не открылся, как джигит мой вошёл к нам в ложу. Мы и поздороваться не успели, как спектакль начался. Поэтому он остался в ложе. Пьеса была неинтересная, и мы, отодвинувшись вглубь ложи, стали тихонько беседовать. В перерывах братишка уходил

курить, тогда как мы оставались на месте. Увлёкшись разговором, я совсем забыла об опасности. В конце спектакля договорились о следующей встрече.

Марфугу-эби, как обещали, доставили домой. Отец был уже в постели, а мама дожидалась нас с чаем. Брат быстренько попил чай и ушёл спать. Я размышляла, стоит ли рассказать маме о случившейся. Тут она сама спросила:

— О чём задумалась? Не хочешь ли чего рассказать мне?

Я привыкла ничего не скрывать от мамы.

— Да, есть что рассказать!— сказала я и обо всём подробнейшим образом поведала ей. Мама слушала, слушала и сказала:

— Вот почему отец так не любит отпускать вас в театр. Разве взрослой девушке прилично знакомиться с первым встречным?

— Нет, он всё не плохой человек!— вспыхнула я и стала защищать джигита. — Наговорила такого, что после самой стыдно стало.

— Сначала-то всё они хороши, потом только плохими становятся. Девушкам надо быть осторожными. Матери и отцы не зря берегут детей от беды,— сказала мама...

Меня всю ночь тревожили радостные и страшные сны. Утром во время чая, видя, что отец не сердится, я успокоилась. Зато в обед он был похож на сбесившегося пса. Ударил брата. Орал на маму: ты, мол, сама распускаешь детей.

Подойдя ко мне, он ревел:

— Это кто же позволил тебе проводить в театре вечера со всякими обормотами? Как не стыдно тебе? Как не побоялась Аллаха? Ты позоришь своих мать и отца!

Я покраснела, мне жаль было маму, которая заливалась слезами, но греха я почему-то не чувствовала. Никаких угрызений совести не было. Отец бесился очень долго и под конец заявил:

— Отныне запрещаю ходить в театр!

Увидев билеты, купленные на завтрашний спектакль, он от души сорвал зло, порвав их в мелкие клочья.

Жизнь стала невыносимой, чай потерял всякий вкус, дни потянулись тёмные и безрадостные. Особенно трудно было в дни, когда в театре давали спектакли.

Я садилась за рукоделие и путала рисунок, всё получалось плохо, пальцы исколола иголкой.

Отец всё не отходил от гнева, зато мама, похоже, стала добрее и сердечней прежнего. Однажды, как всегда, в одиннадцать часов, огни в доме потушили и легли спать. Я долго не могла уснуть. В комнате родителей тоже не спали. До меня доносились то спокойный голос мамы, то голос отца, похожий на клокочущий самовар. Я различала лишь отдельные слова. Два последующих дня были особенно невыносимы. Я очень страдала, не знала, куда себя девать, скучала по джигиту, хотелось услышать его голос. Мне казалось, что я разлучена с близким человеком, которого знала давным-давно. Делать ничего не хотелось. Думала отправить в театр брата, дав ему денег на папиросы, но его отец тоже не пустил.

— Чтобы в театре ноги вашей не было!— гремел он.

Жить стало трудно. Почему-то всё время хотелось плакать. Я слонялась по комнатам, пробовала петь, дни были бесконечны.

На другой день утром, часов в одиннадцать, у наших ворот остановилась лошадь. Смотрю и глазам не верю: из повозки вылезает джигит, о котором я всё время думала! Тот самый!

— Мама,— закричала я,— он пришёл!

Мама встала с места:

— Кто пришёл?

— Тот джигит! — говорю.

— Ну, чего кричишь, людей, что ли не видела?— обругала она меня и стала разглядывать джигита, а сама соображала, что делать? Зазвонил колокольчик. Мама застыла на месте. Сказала служанке:

— Иди, узнай, кто такой и что ему надо.

Колокольчик тем временем звякнул ещё.

— Ты почему заставляешь человека ждать? — крикнула я служанке и побежала открывать дверь.

— Что ты делаешь, Нафиса, вернись! — пыталась остановить меня мама.
— С ума, что ли, сошла?

Сердце моё сильно билось, казалось, вот-вот выскочит из груди. В сенях я глубоко вздохнула и, затормозив себя, подошла к двери. Джигит, ожидавший увидеть служанку, был немало удивлён. Чтобы взбодрить его, я сказала:

— Добро пожаловать! Прошу вас, проходите!

Он покраснел и стал взволнованно пожимать мне руку. Вошли в дом. Мама, не зная, как держать себя с неожиданным гостем, накинула на себя шаль и сказала:

— Прошу вас, кунак!

Не умея скрыть своей радости, я происияла улыбкой. Мама сделала мне глазами какой-то знак, который я не поняла, да и не хотела понимать.

Джигит сказал:

— Вас в театре не видно, туташ!

— Да уж какой тут театр! — воскликнула я. — За прошлый раз наказание отбываю: отцу донёс кто-то, что мы с вами беседовали. Если бы вы видели, какой переполох он поднял! Словно день страшного суда настал!

Мама покашляла, делая мне какие-то знаки, а я, смеясь, выложила джигиту всё начистоту. Видя, что не может остановить меня, мама сказала:

— Вели поставить самовар, дочка!

— Спасибо, спасибо, — сказал джигит, — я ведь только поздороваться собирался.

Но мне очень хотелось угостить его. Я вышла в другую комнату и велела готовить чаепитие.

Когда вернулась, мама задавала гостю вопросы:

— Кто вы, откуда, кто ваши родители, сюда зачем приехали?

Джигит, отвечая, повторял уже известные мне вещи о том, что он врач,

что временно служит в армии, что по службе возвращался из Туркестана и на две недели остановился в Оренбурге. Мама намеренно, чтобы не дать говорить мне, забрасывала его всё новыми вопросами. Вот и самовар занесли, и стол накрыли. Я села за самовар наливать чай. Мама сидела, задумавшись о чем-то, потом вышла в соседнюю комнату и позвонила отцу. Мы с джигитом были заняты приятной беседой, когда послышались тихий, неторопливый голос мамы и грубый, пугающий рык отца. Я не обращала на них внимания, продолжая беседовать с дорогим мне гостем.

Пришла мама, бледная, как полотно, и села на своё место. Она тяжело перевела дух. Этот её вздох погасил, спалил во мне радость дотла. В сердце закрался страх. Джигит тоже почувствовал неладное.

— Дочка, поставь чашку и для отца тоже, — каким-то скрипучим, будто проржавевшим, голосом сказала маме, едва шевеля губами, и это усилило мою тревогу.

Джигит сделал попытку как-то ослабить напряжение и спросил:

— Как у вас с торговлей, удачен ли нынешний год?

Однако мама, которая только что была так разговорчива, в ответ не проронила ни слова. Она не спускала глаз с двери.

Но вот за дверью что-то с грохотом обрушилось. Мама задрожала. У меня тоже по всёму телу пробежал холодок, сердце начало колотиться. Голова моя склонялась сама собой, как у человека, приговорённого к казни, готового принять суровую кару. Джигит тоже покрылся красными пятнами. В комнату, словно метеор, ворвался отец. В испуге всё повскакивали с мест. Он остановился, будто в замешательстве. Всё молчали. Образовалась долгая пауза. За это время я, казалось, постарела, волосы стали белыми. Ноги мои дрожали, зубы стучали. Наконец, отец негромко и как-то неуверенно сказал:

— Ассаламе галейкум!..

Его остепенившийся голос подействовал так, словно метеор пролетел мимо, не задев нас. Всё вздохнули с облегчением: Аллах миловал!

— Вагалейкум ассалам! — отвечал джигит и протянул руку.

— Здесь твоя чашка, старик, здесь! — сказала мама, указывая на место во главе стола.

Я, решив, что отец простил меня, что джигит ему понравился, стала смотреть на него с улыбкой. Взгляды наши встретились.

— Ты чему радуешься?— сказал он мне. — Думаешь, хорошее дело сотворила?

Мама поспешила отвлечь его:

— Пей чай, пока не остыл.

Снова установилась тишина.

Заговорил джигит:

— Простите, — сказал он,— в Оренбурге я проездом. В театре места с вашими сыном и дочерью случайно оказались рядом, и мы разговорились. Вот и решил я зайти к вам и засвидетельствовать своё почтение...

Отец не нашёлся, что сказать.

— Спасибо, спасибо,— сказала мама. — Для гостей дверь наша всегда открыта. — Гость наш доктор, — объяснила она отцу. — В Туркестане, оказывается, нашли какой-то камень, который помогает от всех хворей. Они везут его,— сказала она, пытаясь вовлечь отца в разговор.

Отец единым духом проглотил свой чай и резко протянул чашку мне, отчего она чуть не опрокинулась. Я, пригнувшись, наполнила чашку. Отец заговорил, и голос его звучал глухо, будто из трубы.

— Что ж, хорошо. Выходит, такому учёному человеку дозволено в театре сбивать девушек с пути? Учителя ваши этому вас учат?

— Да ведь не было такого, старый! — вступилась мама.

Руки мои задрожали. Я не успела вовремя закрыть краник самовара и обварила пальцы. Джигит снова покрылся пятнами.

— Я живу среди русских...— начал было он, желая оправдать своё желание сблизиться с мусульманской семьёй, но отец не дал ему договорить.

— Живёшь среди русских, так и живи! Мало что ли у них баб?.. Потаскухи перевелись, что ли?.. А уж коли ты мусульманин, так нечего

мусульманских девушек совращать...

— Простите... — джигит снова сделал попытку вступить в разговор. Отец опять перебил его и понёс настоящий бред! А под конец заявил:

— Да ещё среди бела дня без всякого стыда в дом завалился! Этакое позорище!

— Почему бы мусульманину не прийти в дом к мусульманам? — сказала мама пытаясь смягчить слова отца. — Разве всё мы не дети одних прародителей?

Отец начал орать, теряя контроль над собой. Джигит не раз пытался объяснить что-то, отец не слушал его. Мне стало жаль доктора. Было стыдно за отца... Чтобы как-то помочь гостю, спросила:

— Вам налить ещё?

— Спасибо, спасибо,— сказал он, поклонившись.

Отец побелел от злости. Рука, в которой он держал чашку, дрожала. Глаза мои наполнились слезами. Джигит прошептал молитву, провёл ладонями по лицу и встал.

— Спасибо за гостеприимство. Я побеспокоил вас, прошу прощения!

Отец не ожидал этого.

— Садись, выпей ещё!— сказал он неуверенно.

— Спасибо... я не имел за душой ничего дурного. Жить среди русских я вынужден. К вам пришёл оттого, что соскучился по нашей жизни. Это было ребячеством, простите! И повернулся к двери.

Я застыла на месте, встать не было сил. Взгляды наши встретились. Я так много хотела сказать ему глазами, хотела извиниться. Из глаз моих покатались слёзы. Увидев это, отец закричал:

— Иди в свою комнату!

Я пыталась встать, однако ноги были так тяжелы, словно к ним привязали по пуду железа. Встать не удалось.

Дверь открылась, закрылась, джигит исчез. Слёзы продолжали ручьём бежать из глаз. Мама заплакала в голос. Отец был похож на сбесившегося

зверя — орал что-то, метался по комнате, понося меня. Я не слушала его, голова была занята своими мыслями. Ужасно обидно было за джигита, незаслуженно униженного и посрамлённого. Я чувствовала вину перед ним и во всём корила себя.

Тот день был очень тяжёлым. В доме воцарилась тишина, никто ни с кем не разговаривал.

После вечернего намаза я долго читала Коран и немного успокоилась. На другой день легче не стало. Пришло приглашение на девичий праздник в дом свата Шамси. Маме очень хотелось отправить меня туда и отец, вроде, подобрел немного. Но я отвечать на приглашение не стала. Почему-то никого не хотелось ни видеть, ни слышать. Ночь провела в бреду, вся извелась. Джигит снился мне то плачущим, то смеющимся, то танцующим в обнимку с русскими женщинами, но он неизменно тянулся ко мне, искал меня. Утром я не могла пить чай, в обед не могла есть. И мама, и отец уговаривали поесть, мне стало вдруг очень грустно, я расплакалась и ушла к себе. Запершись, я проплакала очень долго. Мама пыталась утешить, но ничего не помогало. Мне вдруг мучительно захотелось видеть моего джигита. Теперь никакие силы не могли бы остановить меня... Я стала лихорадочно искать возможности. Решила позвонить по телефону. Готова была даже пойти к нему в номер, однако не знала ни адреса, ни улицы. Какая-то колдовская магия тащила меня из дома, словно необыкновенной силы магнит притягивал к себе.

— У меня болит голова, — сказала я маме. — Можно, я прокачусь на лошади?

— Поезжай, дочка, поезжай, — откликнулась мама.

Я отправилась с криворуким и хромым Зарифом, который служил у нас кучером, сторожем и водовозом. Поехали на улицу, где больше всего русских номеров. Я внимательно смотрела по сторонам. Потом свернули на большую людную улицу. Я и тут сосредоточенно разглядывала прохожих, стараясь не пропустить никого. Но всё было напрасно. Неудача расстроила меня. Я ругала себя за то, что не догадалась узнать его адрес. Повернули назад, поехали по

длинной улице. Издали возле продавца газет увидела похожего человека и погнала лошадь к нему. Чем ближе я подъезжала, тем более похожим становился человек. Но вблизи увидела, что это русский парень. Я была так рассержена, что готова была выпрыгнуть из повозки и толкнуть незнакомца. Безднадёжность лишала сил. Чтобы собраться с мыслями, велела ехать в район Каргалы.

Кучер, извёлся, слушая мои капризы, и начал ворчать. Но я всё же настояла на своём. И что вы думаете, на одном из перекрёстков я увидела своего джигита, который медленно шагал мне навстречу! Я узнала его издали и стала разглядывать. Он шёл, опустив голову в глубокой задумчивости. Мне казалось, что он думает обо мне. Поровнявшись, я позвала его. Повозка моя была закрытая, поэтому он не сразу понял, откуда голос, и стал озираться по сторонам. Я засмеялась. На лице его, в глазах появилось изумление. Он подошёл.

— Садитесь же, давайте прокатимся! — предложила я.

Поехали. Поскольку хлопоты мои увенчались успехом, настроение сразу поднялось. Джигит был несколько растерян и не знал, что сказать.

— Мне очень хотелось видеть вас, — заговорила я. — Но, к сожалению, не знала ни вашего адреса, ни номера телефона. Я очень виновата перед вами. Вы не ругайте меня за поведение отца, он же человек прошлого, всё меряет на свой аршин. Он унизил, опозорил вас, извините...

Слова мои, по-видимому, были неожиданностью для него, он не нашёлся, что сказать. Я поняла, как глубока была его обида, и заговорила снова:

— Знаете, поведение отца заставило меня страдать. Я понимала, как вам тяжело, и чувствовала себя ужасно, потому что явилась причиной вашего неслыханного унижения. Мне очень плохо, вина моя тяжким камнем лежит на мне и давит. Уж вы, пожалуйста, снимите с меня этот камень — простите!

Я с мольбой подняла на него глаза и увидела, что он слушает с большим волнением: напряженное лицо покраснело, глаза расширились и было в них столько горечи, что мне стало не по себе. Не говоря ни слова, он дрожащими

руками взял мои ладони и поднёс к губам. Он целовал их, и мягкая, тёплая волна разливалась по моему телу, успокаивая. Внезапно две тёплые слезинки упали на мои руки и перевернули во мне всё. Я задрожала. Почувствовав это, а может быть, устыдившись своего порыва, он отпустил мои ладони. Глаза его за стёклами очков, казалось, рассыпали лучи.

— Просить прощения в этом случае должны не вы, а я, — сказал он. — Это я грубо вторгся в вашу жизнь и нарушил покой. Я стал причиной непонимания, возникшего между вами и вашим отцом. Простите, меня!

Слова были сказаны от чистого сердца, и это успокоило меня.

— Значит, вы больше не сердитесь? — обрадовалась я.

— Да, с этими покончено. Я и не думал сердиться на вас, и права у меня такого нет. Но встреча эта стала для меня открытием. Я увидел, какой вы человек, как глубоко умеете чувствовать. Я преклоняю голову перед вами. Теперь мне будет очень тяжело уехать. Хотя бы издали я должен чувствовать, что на свете есть вы. Без этого я уже не смогу жить.

— Как, вы уезжаете?!— вскричала я, забывшись.

— Да.

— Уезжаете насовсём, чтобы никогда больше не вернуться?!

Он промолчал. Во мне вдруг, как в детстве, заговорило желание крикнуть: «Я хочу с тобой!» Плакать, умолять... Но я обязана была помнить о своём девичьем достоинстве...

— И когда?— спросила я упавшим голосом.

— Завтра!— сказал он.

Мы замолчали. Я первая нарушила тишину, вопросом:

— Но почему завтра же?

— Так получилось. Комиссия наша приняла решение. Я сегодня весь день с сожалением думал о том, что не смогу видеть вас. Несколько раз звонил, но попадал в какой-то магазин. Был и возле вашего дома. Придумывал всякие хитрости, чтобы увидеть вас, готов был даже позвонить в дверь. Но мне не хотелось подвергать вас новым испытаниям. Если бы

уехал, не простившись, я был бы очень несчастен.

Я тоже рассказала, как мечтала о встрече, что вот уже два часа кружу по городу в надежде увидеть его. Эти признания сблизили нас окончательно. Упала последняя завеса, разделявшая нас. Мы перестали стесняться, совсем как родные, и говорили, говорили, забыв обо всём на свете, чувствуя себя на седьмом небе... Но грубая действительности разрушила иллюзию, вторгшись в виде голоса хромого кучера:

— Поедем домой, мне воду возить пора.

Меня будто молотком по голове ударили. Какой позор! Этому уроду, видите ли, воду возить приспичило! Я представила себе окутанный дымом поезд, уносящий моего джигита, и мне стало плохо. Он тоже побледнел и проговорил с трудом:

— Неужели это конец?!

— Нет!— крикнула я и тут же увидела, как позади кучера замаячила тень отца и толпа сплетниц. Чтобы видение исчезло, повторила:

— Нет!

Он, не говоря ни слова, пожал мне руку, губы наши слились.

— Служба закончится через три месяца,— сказал он. — Как только получу бумагу, первым делом примчусь сюда. Верю, что ты останешься такой же.

— Верь, верь!— воскликнула я.

Мы обменялись адресами, поклялись друг другу в верности, даже если много долгих дней придётся быть в разлуке. Джигит дал хромому серебряный рубль и тот замолчал.

Я ехала домой, погрузившись в думы. Было такое ощущение, словно я забыла сказать что-то, чего-то не сделала. Наконец, вспомнила: я же ничего не взяла у него на память. И сама ничего не дала. Эти мысли пробудили другие. Я твёрдо решила завтра утром пойти на вокзал к поезду и оставить ему на память подарок. Тут же на ум пришло другое. Я велела остановиться возле дома Сахибы-эби, известной у нас кулинарки. Хромой поворчал, но

всё же остановился.

— В Тозтубе бедная родственница выходит замуж,— сказала я женщине,— хочу послать ей чак-чак. Завтра поезд уходит туда в семь пятнадцать вечера. Не приготовишь ли?

— Яйца теперь дорогие, и масло, и мёд в цене,— запричитала старушка.

— А сколько надо?— спросила я, но она продолжала причитать, не называя сумму. Я дала ей двадцать пять рублей. Увидев в сумочке деньги, она сказала:

— А нет ли ещё?— Я добавила десятку и, получив обещание, ушла, полная мечты.

Уже во дворе дома благодное настроение моё улетучилось. Всю ночь ворочалась, не могла уснуть. Утром встала с ощущением недомогания. Мама заметила это:

— Что с тобой, дочка?..

Она и хромого расспрашивала, заподозрив что-то.

Когда время приблизилось, я снова попросила у мамы разрешения покататься.

— Езжай уж, ты ведь не затеваешь ничего дурного?— сказала она.

Надев на палец кольцо — подарок отца, который он привёз с Макарьевской ярмарки, я отправилась к старой Сахибе. Чак-чак оказался наредкость удачным. Воздушное тесто не пропиталось маслом, мёд не потемнел. Бабуля постаралась и выложила даже из цветных леденцов моё имя: «Нафиса». Я была очень довольна.

До отправления поезда оставалась четверть часа. Не думая о случайной встрече со знакомыми, я вышла на платформу и стала смотреть в окна вагонов первого и второго классов. Вот у открытого окна стоит мой джигит и разговаривает с седобородым русским. Увидев меня, он очень удивился и покраснел. Старик с улыбкой сказал ему что-то, джигит пошёл встречать меня. В коридоре вагона было тесно, ходили люди, и он завёл меня в купе. Я поклонилась русскому старику. Чак-чак положила на стол со словами:

— Это вам гостинец в дорогу.

Потом сняла с пальца кольцо с бриллиантом и взглянула на джигита:

— Пусть это кольцо напоминает тебе обо мне. Смотри же, не снимай его!— сказала я.

Он снова удивился. Не стесняясь старика, стал примерять кольцо. Оно никак не налезало на палец. Тогда я взяла его руку и надела кольцо на мизинец. Мы со стариком засмеялись. Снова услышав его клятвы, я собиралась выйти, но остановилась.

— Забыла сказать что-то? — спросил он.

— Дай и ты мне что-нибудь на память.

— Я не ожидал, что увижу тебя, и ничего не приготовил.

На столе лежала книга.

— Это твоя?— спросила я.

— Моя,— сказал он и протянул мне сборник рассказов Тургенева «Первая любовь». Я снова поклонилась старику и вышла.

Домой вернулась на пять минут раньше отца. Мама, похоже, догадывалась о чём-то. Я была на седьмом небе от счастья. Отец был хмур. Кто-то успел наябедничать ему на меня.

Так началась моя жизнь между надеждой и безнадёжностью. Получив письма с дороги и из Москвы, успокоилась и стала ждать. В театр, на литературные вечера отец меня не отпускал, на девичьи праздники самой не хотелось, так что я вела жизнь затворницы. Девушка, не пропускавшая раньше ни одного спектакля, перестала появляться на людях. Это породило много сплетен и догадок. Наконец, разлетелся слух, будто Нафиса влюбилась в русского парня. Отец гневался, чувствуя себя оскорблённым, мама очень переживала. Они разговаривали ночами. Горевали, что дочка теперь не сможет устроить свою жизнь.

В это время, к радости родителей, из Орска приехали сваты. Отец с мамой готовы были дать согласие. Я противилась, как могла. Сказала, что замуж не собираюсь, плакала, но родителей это не трогало. Наконец,

рассказала отцу, как обстоят дела, и заявила, что ни за кого другого замуж не пойду. Мама была, вроде, на моей стороне, но идти против воли отца не могла. Поэтому надежды на неё не было никакой. Джигита своего я забросала письмами. «Если дела станут совсем плохи, писала я, пошлю телеграмму. Будь готов».

И вот отец сказал:

— В следующий понедельник состоится «Праздник радостной вести». Готовьтесь. Я приглашу гостей. Я помертвела от страха. Хотела возразить и не смогла. Вспомнив о клятве, которую дала джигиту, сказала:

— Я не выйду, отец. Делайте со мной что хотите! Не выйду — и всё! — крикнула я и выбежала из комнаты.

Запершись у себя, долго плакала. Не взирая на уговоры мамы, на брань отца, пошла на почту и отправила подробную телеграмму. С горя я плохо соображала, уж и не знаю, что написала в ней. Начала ждать ответа. Но ни письма, ни ответной телеграммы не было. Я очень беспокоилась, ведь военная служба кончалась только через месяц с небольшим. Что будет, если он не сможет приехать! Я уже теряла всякую надежду, и вдруг в пятницу мне привиделся радостный сон. Я воспряла духом. Напевая, ходила из комнаты в комнату. Увидев это, мама повеселела. Видно, подумала, что я изменила своё решение.

— Так уж оно бывает в жизни, судьбу не переделаешь, — говорила она. — Будешь слушаться отца с матерью, худо тебе не будет...

Однако я не слушала её.

Настал и пятница, отец пошёл в мечеть, мама творила намаз у себя в комнате. Зазвонил телефон.

— Слушаю! — сказала я.

— Нафиса, это ты? — раздался весёлый голос моего джигита.

— Ты?! — обрадовалась я, — когда приехал?

— Сегодня в десять. Ждал, когда начнётся пятничный намаз, чтобы позвонить тебе.

За одну минуту я выложила ему всё новости. Договорились встретиться в четыре в одном из русских магазинов. Я сказала, что нам следует пойти к старому хазрату, объяснить ему положение и попросить быть нашим сватом.

— Как же тебя отпустили,— спросила я, — ведь срок службы ещё не истёк?

— Всё из-за твоего чак-чака! Ведь тот старик — профессор и мой начальник. Гостинец твой так ему понравился, что он и тебя прозвал «Чак-чак». Получив твою телеграмму, я пошёл прямо к нему и всё рассказал. Он отправил меня сюда в командировку.

Дверь в соседнюю комнату стала открываться, и я быстро повесила трубку.

Намаз я творила с особым рвением, желая отблагодарить Аллаха за то, что он вовремя доставил ко мне моего джигита. После намаза принялась читать Коран, продолжала читать и после того, как принесли самовар. Мама подходила к моей двери несколько раз, но не решалась прервать моё благочестивое занятие. Окончательно успокоившись, я вышла к чаю. И отец, и мама были очень ласковы со мной, вообразив, что я настроена ехать в Орск.

— Если есть у вас в чём-то нужда, идите в магазин и выберите всё, что нужно. Поступил новый товар,— предложил он. — А что, и пойдём!— весело сказала мама.

Я же заявила, что хотела бы повидаться со своей абыстай, наставницей.

Отец и мама в два голоса с большой готовностью воскликнули:

— Иди, иди! На лошади поезжай!

А мама добавила:

— Отнеси ей в подарок отрез на платье.

Я тянула время, чтобы ровно в четыре быть в условленном месте. Джигит стоял у прилавка в углу магазина и выбирал какие-то платки. Увидев меня, поспешил навстречу. Я готова была броситься ему в объятия и с трудом сдержала себя. Забрав покупки, сели в повозку и поехали в сторону кладбища. Там мы могли спокойно обсудить наше положение. Говорили долго,

условились обо всём, стараясь предвидеть всё, что могло помешать нам. Оказалось, что он уже был у хазрата, и тот обещал сегодня же после молебна «ясту» отправиться к родителям и быть нашим сватом. Я сказала, что собираюсь к своей наставнице, незамужней дочери хазрата, чтобы посвятить её в наши планы. На том мы расстались. Я пошла к абыстай, преподнесла ей подарок, попросила помолиться за меня. Вдруг мне почему-то стало грустно, и я расплакалась.

— Слышала я, к вам сват из Орска приехал,— сказала абыстай и попыталась утешить меня, говоря: — Это очень красивый город.

Я рассказала, как обстоят наши дела, объяснила, что жених мой говорил с хазратом и тот обещал сосватать меня за него. Абыстай слушала с нескрываемым изумлением.

— Прошу вас, поддержите!— сказала я.

— Святое дело мы всегда готовы поддержать, но ведь я, кроме твоей мамы, не могу говорить ни с кем.

Я просила её рассказать обо всём хазрату.

Дома пока ничего нового не было. Только вечером из магазина позвонил отец и сказал:

— После молитвы к нам сегодня собирается хазрат. Приготовьте плов, ждите с чаем.

Я стала ждать.

Хазрат пришёл. Его усадили пить чай. Известно, хазрат приходит не просто так, а по какому-то делу, поэтому мама хотела знать, что он скажет. Мне тоже надо было услышать ответ родителя, чтобы знать, как поступить дальше. Мы с мамой устроились возле двери и стали слушать. Выпив чашку чая, хазрат заговорил. Он высказал то, что мне уже было известно, и стал ждать ответ. Мама шумно выдохнула: «У-уф!» и с подозрением уставилась на меня. Отец онемел, словно его ударило молнией. Хазрат стал говорить о женихе:

— Живёт среди русских. Я похвалил его за то, что сохрМамал себя и хочет войти в мусульманскую семью. Что бы мы делали, если бы привёл

русскую и сказал: «Хазрат, прочитай нам никях»,— или без всякого никяха стал бы отцом ребёнка, множа племя русских? Я очень полюбил этого джигита.

— Хазрат, уж если вы говорите такие слова, что же остаётся нам, невеждам?— вступил отец в спор с хазратом. Под конец сказал: — У нас договорённость с Орском наполовину уже готова. Спасибо! И всё же, хазрат, не следовало бы вам, уважаемому человеку, ронять своё достоинство, хлопоча за таких полурусских людей.

— Мы, наследники Пророка Мухаммада, в отношении веры помогаем тем, кто нуждается в нашей помощи. Это долг наш,— ответил хазрат.

Отец, продолжая возражать, говорил что-то. Хазрат в конце концов разгорячился и сердито прикрикнул на него:

— Глупец!

Потом, поостыв немного, они продолжили беседу. Кончилось тем, что отец резко заявил:

— Нет!

— Надо с супругой посоветоваться, узнать, что думает дочь,— сказал хазрат. Но отец твердил одно:

— Нет!

Уходя, хазрат сказал:

— Ты допускаешь ошибку, возражаешь лишь из упрямства. Ты подумай. Завтра я приду ещё.

После ухода хазрата, отец дал волю своему буйному нраву. Мама плакала, но я была спокойна, думая, что отец всё же наполовину сломлен и теперь есть надежда.

Утром, часов в десять, хазрат пришёл снова. В этот раз он говорил обо мне, о моём согласии.

— Дело надо решить разумно,— внушал он. — Джигит очень достойный. На что тебе богатство? Главное, чтобы Аллах дал детям счастье,— убеждал он отца. Но тот стоял на своём.

После полудня пришла моя наставница. Мама теперь была на нашей стороне и передала отцу многое из её слов, но тот сдаваться не собирался. Переубедить упряма оказалось невозможно.

Сказав, что иду провожать абыстай, я поспешила к жениху и застала его совершенно сникшим. Из рассказа хазрата он узнал про упрямство отца и потерял всякую надежду.

— Я пойду до конца! — сказала я. — Поеду с тобой в Уфу, и там, в СобрМамаи, попросим муфтия-хазрата прочитать нам никаях.

Он с чувством пожал мне руку и улыбнулся. Мы снова принялись строить планы. За разговорами время прошло быстро, наступил вечер. Я боялась идти домой, зная, что отец, как всегда, начнёт буянить. Мне надоело вечно трястись от страха, хотелось покончить с этим унижением раз и навсегда.

— А давай сейчас же пойдём к хазрату и попросим прочитать нам никаях, — предложила я.

Он вытаращил глаза, не веря своим ушам:

— Как, ты и на это готова?

— Конечно! Пошли.

— Ты понимаешь, что будет? Как сильно обидятся твои родители?

Слова его почему-то не тронули меня.

— Я согласна на всё, — сказала я и велела кучеру ехать к дому хазрата.

Увидев нас вместе, хазрат был смущён.

— Что случилось? — спросил он.

— Хазрат, мы пришли просить вас прочитать нам никаях, — сказал мой джигит. — Вы же знаете наше положение.

— Ах, как вы спешите! Спешите... — сказал хазрат качая головой. — Молоды вы ещё, ах, как молоды... — Он посоветовал нам разойтись. Обещал завтра снова поговорить с отцом. Но мы были настроены очень решительно.

— Я сейчас пойду на намаз, — сказал он, — а после посмотрим.

Нам поставили самовар, приготовили чай. Вскоре появилась мама. Она стала звать меня домой, плакала, умоляла.

— Я не пойду, — сказала я.

После молитвы вместе с хазратом подросел и отец. Он проклял меня, обругал моего джигита, вступил в спор с хазратом, пытался утащить меня силой, но я не далась.

— Нет, так не годится, — сказал хазрат. — Давайте всё вместе пойдём к вам и устроим помолвку.

Отец был несогласен.

Я попросила хазрата прочитать нам никах теперь же.

— А если нет, — сказала я, — мы поедем в Уфу и поженимся там.

Мои слова привели отца в бешенство.

— Что ты творишь?!— орал он. — Ты же позоришь нас! — Под конец пробурчал: — Ладно, пусть идёт домой. Завтра видно будет.

— Я не уйду отсюда, пока не будет прочитан никах,— твёрдо заявила я.

Хазрат был в растерянности. Снова попытался убедить отца. В конце концов, сказал:

— Мы подчиняемся шариату и не можем идти против законов веры. Если девушка и джигит оба хотят этого, мы пойдём им навстречу.

— Я не согласен! — закричал отец и вскочил.

Хазрат водрузил на голову чалму, достал своё свидетельство, позвал из медресе двух преподавателей в свидетели и при них снова обратился к отцу с вопросом. Тот сказал своё: «Нет!» Мама зарыдала. Хазрат громко спросил нас обоих, согласны ли мы. Заставил трижды выразить согласие и прочитал никах. После этого сказал, глядя на отца:

— Что теперь будете делать? Эти двое — муж и жена. И всё же она дочь вам. Не упрямытесь!

Отец не произнёс ни слова, мама продолжала плакать. Всё вышли на улицу, отец с мамой пошли впереди, мы двинулись следом. Возле ворот остановились. Я подошла к маме и сказала:

— Прости, мама!— обняла её и заплакала. Потом обняла отца. Плакали всё трое. Джигит мой стоял неподвижно. Ворота открылись. Родители вошли, я осталась с мужем.

— Входи, Нафиса!— позвал отец.

— Одна я не могу войти,— возразила я.

— Входите оба, — сказал он.

Мы вошли.

Свадьбу устроили через неделю. Это была очень скромная свадьба. Потом я с мужем сразу же отбыла в Москву. С тех пор мы вместе. Слава Аллаху, до сего дня ничто не омрачило нашу любовь».

Заканчивая рассказ, Нафиса улыбнулась, радуясь своему счастью.

— Да, вам очень повезло...— проговорила Гульсум. — Но кто надоумил вас держаться так уверенно?

— Я совета не спрашивала ни у кого, просто делала то, что подсказывало сердце. И всё получилось!

Гульсум некоторое время задумчиво смотрела на Нафису, потом спросила:

— Это была ваша первая любовь?

— Первая и последняя... Мы всё ещё влюблены друг в друга. Теперь еду к мужу и чувствую себя так же, как в тот день, когда шла с ним к хазрату.

Видно, представив себе скорую встречу, Нафиса мечтательно улыбнулась.

— А где теперь работает муж ваш?— поинтересовалась Гульсум.

— В Москве, врач по лёгочным болезням. В прошлом году он много работал, сдал экзамены на приват-доцента, однако министр не утвердил его, оттого что мусульманин. Это мужа очень расстроило. Гордость его страдала ещё оттого, что товарищи по службе относились к нему как-то пренебрежительно. Убедившись, что русские никогда не научатся ценить его труд, решил, что и жить среди них не имеет смысла. Он искал место в Казани

и Астрахани, однако ничего подходящего не было. Пришлось остаться в Москве. Но зато теперь он уважаемый человек — председатель благотворительного общества, глава школьного комитета. Без его участия в Москве не делается ничего. Всё совещания проводятся у нас дома, там же он принимает больных. Чтобы дети могли общаться со своим народом, он купил возле большого мусульманского аула скромную усадьбу у воды с садом. Мы едем туда впервые, чтобы взглянуть, что это такое. С будущего года, если Аллаху будет угодно, всё лето собираемся жить там. Купим корову. Дети, как известно, привыкают к той среде, в которой живут. В Москве нас окружают русские. Отныне дети наши станут проводить каникулы на родине,— сказала Нафиса и замолчала.

* * *

Гульсум подумала о своих детях. Её поразило, как в этой счастливой семье заботятся о детях. «Кем же вырастут мои дети?»— спросила она себя. — Кто позаботится о них?» Ей хотелось ещё поговорить о детях, расспросить Нафису, но пароход неожиданно дал длинный гудок. Ребёнок Гульсум снова испуганно вскочил с криком: «Мама! Папа идёт, папа!»

Они стояли у пристани. Пароход ожил: люди выходили и входили.

Гульсум успокоила сына и села на место. Свет фонаря за окном придавал её бледному лицу желтоватый оттенок, и она стала похожа на застывшую в неподвижной позе мумию. Женщина задумчиво смотрела на довольную своей судьбой Нафису, на её объятых глубоким сном детей.

— Вы оказались такими счастливыми,— тихо проговорила она голосом, исходившим из глубины души. — Я другая, жизнь моя по-Папалась совершенно иной колее и выбросила меня на другой берег,— так начала она свою исповедь.

«Я дочь мурзы. Когда была маленькой, умерла моя мама. Осталась одна с отцом. Через год к нам приехала овдовевшая сестра отца. Она заменила мне мать. Читать стала рано. Моей первой книгой была русская книга. Я читала о жизни русских. Потом пошла в школу. Это, понятно, была русская школа.

Меня окружали русские. И дома говорили по-русски. К нам приходили русские, и сами мы ходили к русским. Только во время праздников я начинала понимать, что я какая-то не такая русская, как всё. Русская, которая не празднует рождества, зато празднует курбан-байрам. Мне было стыдно перед подругами оттого, что я не настоящая русская.

Отец постоянно был занят, много работал, а тётушка, считая себя ещё молодой, больше увлекалась нарядами, туалетами. Дома на меня мало кто обращал внимание. Русские гувернантки мои всё время менялись. Я, как бабочка, перелетала от одного огонька к другому. Летом мы ездили то в Крым, то на Кавказ, а порой — в Германию. Но однажды поехали в Уфимскую губернию к бабушке со стороны моей мамы. Оказалось, на берегу реки Дим у неё прелестная усадьба. Там и воздух был какой-то особенный, лучше, чем в Крыму, слаще, чем на Кавказе. Бабушка была очень добра ко мне.

— Как ты похожа на маму,— говорила она, лаская меня. Так нежно меня не любили никогда. И здесь, хотя всё было по-русски, слуги, всё до единого, набирались из местных. Говорили, пели на родном языке. В первый же день, увидев на горе мальчишек с кураями, я пришла в восторг от их красивых и грустных мелодий. Это было так необычно, что я чувствовала себя иностранкой. И всё же меня не покидало ощущение, будто давным-давно где-то я уже видела и слышало это. К нам ездили гости, сами мы бывали у них, и всюду было так же: половина по-русски, половина на своём языке. Вот папа уехал, тётя гостила в другом городе у других мурз. Я осталась с бабушкой, которая была уже очень старенькой. Хотя и была из благородных, поверх калфака она носила платок. Иногда после омовения садилась на намаз. Мне сначала это было удивительно. Я даже боялась, думая, что мне, русской, как я считала, это может чем-то повредить. Но постепенно привыкла. Мне казалось, что бабушкам положено быть такими.

Однажды, в самую прекрасную пору лета, мы вернулись из леса с ягодами и застали в доме полный переворот. Полы вымыты, баня истоплена, каких только угощений не наготовлено!

— Что это? — спросила я.

— Сегодня будем есть сахяр,— отвечают девушки.

— А что такое сахяр?— спрашиваю.

— Это, значит, что завтра начинается ураза.

Настал вечер. Я с девушками пошла в мечеть слушать таварих. А когда стемнело, было очень весело есть сахяр. Зато утром чая не было и за ягодами идти не позволили. Я вместе со всеми стала держать уразу.

В первые дни было трудно, но я быстро привыкла. Мне нравилось ходить с девушками в мечеть слушать азан, а вечером — таварих. Бабушка сказала, что в священный месяц рамазан по-русски одеваться нельзя и велела сшить мне платье с оборками, на голову повязала платок. Я уже успела привыкнуть к новой жизни, как вернулась тётя.

— Ишь, что выдумали! — возмущалась она,— в такое жаркое время ребёнка уразу держать заставили. Она и так малокровием страдает. Я не потерплю такой дикости, напишу отцу!

Они даже поругались с бабушкой. Тётя заставила меня пить вместе с ней чай.

— Уж и русский язык, наверное, забыла. Смотри, останешься в школе на второй год!

Она отругала гувернантку и усадила нас за уроки. Порядок в моей жизни нарушился. Теперь я пряталась от тётки, когда надо было есть сахяр и слушать азан и пряталась от бабушки, чтобы попить с тёткой чай. Тётка не позволила дожидаться праздника ураза-байрам, говоря, что здесь меня окончательно отатарят, и увезла.

В том году в школу, где я училась, поступили ещё две девочки-мусульманки. Их матери, договорившись с начальницей, пригласили в школу муллу, чтобы вёл уроки веры. Начальница мне тоже велела посещать их. Тогда я научилась читать и писать, запомнила молитвы.

Я выросла, закончила школу, стала девушкой. Мы были знакомы со всеми мурзами Петербурга, с обрусевшими господами из Крыма и Кавказа.

Кавказские офицеры, служившие в разных местах, туркменские джигиты — всё бывали у нас. Тётя, в прошлом жена офицера, была равнодушна к людям в военной форме, обожала кокетничать с молодыми офицерами, несмотря на свои преклонные годы. Я с виду была девушкой, но в душе оставалась подростком. За мной стали волочиться какие-то люди. Один полковник часто дарил мне цветы, справлялся по телефону о здоровье, вместе с тётёй водил меня в театр и держался так, словно он мой кавалер. Однажды встал передо мной на колени и попросил руки. Я удивилась, ничего подобного мне и в голову не приходило. В ответ я не могла вымолвить ни слова. За дело взялась тётя. Она, не жалея красноречия, нахваливала полковника, говорила, что у меня будет возможность сделаться генеральшей, рассказывала о высшем свете русских, куда я будто бы могла попасть. Слушать её было интересно, но поскольку я не испытывала к этому человеку никаких чувств, я ему отказала. Папа тоже был на моей стороне, считая, что я ещё слишком молода. Полковник появлялся всё реже, разыгрывая при встречах обиду. Не прошло и двух-трёх месяцев, как он утешился, женившись на немолодой вдове.

Не успел простыть его след, как к нам стал ходить киргизский студент, внук хана. Он потешал меня армянскими анекдотами и всякими курьёзными историями, возникавшими из-за плохого знания его сородичами русского языка. Говорил, что по окончании университета станет большим уездным начальником, и расписывал своё будущее яркими красками. Этот тоже с дрожью в голосе долго говорил мне в фойе театра о своей любви, уверял, что не сможет жить без меня. Ему я тоже отказала, потому что не нравились мне ни слова его, ни манеры. Тётя в этот раз не вмешалась, отец тоже промолчал. После киргиз писал мне длинные письма, просил, умолял, но я решения своего не изменила. Он закончил университет, женился на девушке, с которой был помолвлен в младенчестве, и зажил уездным начальником. После него объявился кавказский инженер, потом литовский татарин, потом иранский принц, а между ними были русские офицеры и студенты. Они писали письма,

дарили стихи. Однако всё они лишь запачкали душу мою пошлостью и не пробудили никаких чувств.

И вот как-то пригласили нас на свой вечер татарские студенты. В небольшом зале были только наши сородичи. Вечер удался. В буфете предлагали национальные блюда, выступал студенческий оркестр. Разыграли маленькую пьесу. Для концерта были отобраны красивые песни и стихи. Вечер напомнил мне радостные впечатления детства в усадьбе бабушки. Я веселилась от души, настроение было замечательное.

Юноши и девушки затеяли игру. Я была «ханом» и должна была назначать «проштрафившимся» наказ. Пока я размышляла, что бы такое придумать, мне подсказали: пусть почитает стихи! Стихотворение называлось «Ты». Юноша декламировал так хорошо, что произвёл на меня огромное впечатление. Поскольку я была «ханом», приказала ему:

— Прочти ещё!

Молодежь одобрительно захлопала в ладоши. Он почитал другие стихи и снова замечательно. Мы познакомились. То ли оттого, что имя его совпало с именем турецкого паши, то ли он симпатизировал туркам, только всё звали его Пашой. Мне юношу тоже так представили. Он не возражал, и я стала звать его как всё. Пригласила его к себе. Он стал бывать у нас. Паша не был похож на тех людей, которых я знала. Не кривлялся, как они. Он рассказывал мне о татарской литературе, о стихах, о современных течениях в литературе, приносил татарские книги и раскрыл передо мной другой, новый для меня мир. Я с жадностью читала стихи, заучивала их наизусть, выписывала татарские газеты, журналы и постепенно входила в этот мир.

Наступило лето. Я пригласила Пашу в нашу усадьбу. Паша приехал в чудесную пору лета. Надо сказать, что тётя сразу же не возлюбила моего друга, пыталась настроить меня против него. Но всё, что она говорила, мне было безразлично, отношение моё к Паше не изменилось. Оказалось, что тётя в это время ждала каких-то друзей покойного мужа. Как только джигит появился, она сказала:

— Куда же мы его устроим? Такая-то комната для мурзы, брата мужа; такая-то — для моего двоюродного брата; такая-то — для Марьи Ивановны; такая-то — для Суфии Салиевны. Словом, весь дом «заселила» своими будущими гостями. Для моего друга место нашлось лишь на чердаке. Меня это злило, но ссориться с тёткой я не могла. А Паша обиды своей ничем не выдавал.

Стояли дивные дни, мы вставали рано и уходили в лес за ягодами. А когда погода сменилась, и стало прохладно, отправились на рыбалку с первыми бликами зари на воде. В соседний лес устроили пикник с самоваром. Паша с каждым днём становился раскованней и проще. Всё относились к нему с симпатией, отцу он тоже нравился, слуги уважали его, не любила одна лишь тётка.

— Если приедет мурза, брат мужа, как я представлю ему этого?— говорила она. — Ведь у него даже одежды другой нет, и держится он по-татарски. Ни рода у человека, ни племени... Отцу жужжала в уши: «Надо думать, прежде чем звать гостей в дом, где есть девушка на выданье». Она называла джигита простаком и при всех высмеивала малейшие его недостатки. За стол сажала рядом с экономкой. Но Паша не замечал этого. Или делал вид, что не замечает?

Он привёз мне книги. Порой мы уединялись с ним в тенистом углу сада и часами читали. Иногда уходили к самому дальнему лесу, много беседовали. Увлёкшись разговором, шли, куда глаза глядят. Временами, сидя с удочками на берегу, мы, не отрывая глаз, подолгу смотрели на воду, будто хотели рассмотреть что-то в глубине, а видели свои отражения и молча говорили с ними. Потом, взглянув друг на друга, улыбались. Когда серебристая рыбка, сорвавшись с крючка, прыгала в воду, мы смеялись, радуясь... Всё веселило вокруг — и гудение пчелы, перелетавшей с цветка на цветок, и свадебный треск кузнечиков вдали, и писк ласточек, порхавших и кружившихся в воздухе, словно черкешенки в танце, и нескончаемые вдохновенные трели

жаворонков, которые изливались на нас с высоты. Мы растворялись в этой красоте, забыв обо всём на свете.

Дни проходили за днями, и в душе моей крепло умиротворение, незнакомое мне ощущение счастья. Оно не покидало меня, ласкало, нежило. Мне с другом было очень хорошо! Я смеялась, пела целыми днями, играла на пианино. Ночью спала безмятежным ангельским сном. Утром меня снова встречало всё то же счастье, та же сладкая жизнь. Я поправилась, стала румяной, руки налились силой. Я чувствовала себя крепкой как никогда. Казалось, без страха, одна могла бы пройти через дремучий лес, вскарабкаться на крутую гору. Паша тоже окреп, загорел. Глаза его лучились сильнее прежнего. Его смех звучал громче, улыбка вспыхивала на лице чаще. Зато тётюшка моя совсём потеряла покой, становилась всё более злой и невыносимой. «Разве девушки так ведут себя?»— приставала она ко мне и делала всё, чтобы не оставлять нас наедине. Из соседней усадьбы позвала развязную русскую барышню, чтобы ухаживала за Пашой. Хотя в доме было полно свободных комнат, поместила её на чердаке рядом с моим другом. Девушка кокетничала с ним, пыталась привязать к себе, капризничала. Сев на лошадь верхом, поехала в лес и потащила его за собой. Она ничего не добила, но сладкую жизнь мою подпортила. И Пашу поставила в неловкое положение. Наши прогулки, долгие беседы, весёлое расположение духа стали реже, но отношение друг к другу не изменилось.

И вот я обратила внимание, что отец с тётёй часто запираются в кабинете и с серьёзными лицами о чем-то подолгу разговаривают.

Пришла телеграмма, извещающая о том, что мурза выезжает. Тётка развила бурную деятельность, во всём доме затеяла генеральную уборку, приготовила для гостей комнаты. Людей отправила в город за покупками для стола, всех поставила на ноги. Меня позвала к себе:

— Приезжают родственники мужа. Они наследственные мурзы. Сам служит в охране государя, знаком с великими князьями. С ним едет его сын, офицер дикой дивизии. Что со студентом делать будем? Нельзя же мёд мешать

с гороховой мукой. Как можно одновременно оказывать им гостеприимство? Когда он уезжать собирается?

Я покраснела, слова её возмутили меня, и тут же с сожалением подумала: «Ах, почему же Паша мой не мурза!»

— Надо дать ему понять, — поучала тётка, — ведь сам не догадается, хорошему обхождению не обучен! Сказать прямо: отправляйся, мол, восвояси.

— Как можно так выпроваживать гостя! — возмутилась я, но защитить Пашу не сумела. — Он и сам собирался, — сказала я, — уедет скоро.

— Смотри же, веди себя как подобает... — наставляла она. — Наши ведь очень чутки, по поступи узнают человека. Не дай бог, подумают, что парень — твой кавалер... Всё пойдёт тогда прахом...

Гости подъехали с шиком на тройке. Дом наполнился чужими мужчинами и женщинами. Ужин прошёл весьма торжественно. Тётя позаботилась об угощении — блюд на столе было множество. Меня посадили рядом с офицером. Он всё время что-то предлагал мне из еды со словами: «Виноват, виноват, прикажите!» рассказывал мне какие-то полковые истории. Пашу тётка посадила в самый дальний угол стола рядом с той русской барышней. Мне даже видно его не было, и голоса не слышна, зато болтовня барышни, её искусственный смех доносились и портили мне настроение. Старики пили, сосед мой тоже прикладывался, угощал и меня. Я выпила немного и слегка захмелела... После еды старики, прихватив бутылки с ликёром, пошли в комнаты играть в карты. Молодежь отправилась в сад. Тётя, подозвав меня к себе, говорила что-то, стараясь отвлечь моё внимание. А когда барышня подцепила Пашу под руку, отпустила. Окликнув офицера, сказала:

— Не желаете ли прогуляться? — и отправила меня с ним.

Было тихо, в небе луна, звёзды, пахло травой... По телу растекалось тепло, тихий тёплый ветерок доносил ароматы цветов, нежно обдувал лицо, гладил волосы... Офицер был навеселе и сыпал анекдотами. В противоположном конце сада барышня пронзительным голосом давала какие-то команды. Вдали противно кричала сова, вселяя в душу беспокойство и

страх... Мы обошли сад один раз, другой... Пора было возвращаться в дом, но я снова потащила кавалера своего в сад, надеясь, встретить там Пашу, и заставляла себя смеяться над дурацкой его болтовнёй. Повернули к дому. В полосе света, падавшего из открытой двери, вдруг появился Паша. Лицо его, видимо, от освещения, было жёлтым, глаза запали, казалось, в них затаилась боль, на лице недоумение. За весь сегодняшний день нам не удалось переброситься ни словом, поэтому я сказала по-татарски:

— Здравствуйте, как дела?

Офицер извинился и ушёл в дом. Мы остались одни. Не успели мы ничего сказать друг другу, как выскочила тётя.

— Пойдём, Гульсум, тебя ждут. Разве хозяйке можно бросать гостей?— сказала она и утащила меня за собой.

Вечером играла музыка, были танцы, гости танцевали очень хорошо. Меня всё время приглашали то один, то другой. Я устала. Паша сидел в углу совсём один. Не мог он ни в карты играть, ни танцевать. И рядом с женщинами, которые, потягивая ликёр, занимались сплетнями, ему было не место. Всё его существо выражало плохо скрываемую тоску.

Вечер подошёл к концу. Отправляясь на покой, гости подходили ко мне и целовали руку. Он единственный не стал целовать и исчез, бросив мне: «Спокойной ночи!»

Я провела очень плохую ночь, видимо, оттого, что сильно устала и пила ликёр.

На другое утро мы рано погрузились и на пяти лошадях поехали к воде на пикник. Отец, родственник тетки, она сама — в одном тарантасе; я, офицер и маленький ребёнок — в другом. В остальных — женщины и гости помельче. Пашу вместе с пожилой экономкой посадили в телегу с самоваром и провизией. В дороге тарантасы то и дело обгоняли друг друга, забавляясь. Только телега Паши катилась в хвосте. Старая лошадь резвостью не отличалась. Мне было горько видеть друга униженным. Но вступить за него у меня не было сил. Мешали порядки, установившиеся у нас в доме, где всём

командовала своенравная тётя. Мягкотелый отец полностью отстранился от домашних забот и отдал вожжи в руки сестры. Неопределённость отношений с Пашой тоже связывала мне руки.

У излучины реки лошади остановились. На зелёной шелковистой траве развернули пир с обильным угощением, разожгли большой костёр, поставили самовар. Пошла гулянка. А потом мужчины и женщины рассыпались по лугу, собирая цветы. Я несколько раз пыталась быть рядом с Пашой, говорить с ним, но всякий раз то тётя уводила меня от него, то кто-то из женщин подходил с какой-то просьбой, то барышня дёргала его — нам не позволяли быть вместе. Я целый день оставалась рядом с офицером, исполняла навязанную мне роль хозяйки. Без меня почему-то не мог обойтись никто. Паше я не уделила ни минуты. Народу было много, и я, как мельница, едва успевала поворачиваться. Когда мужчины пошли купаться, мы, женщины, торопливо готовили угощение. Пока они пили ликёр, купаться ходили мы. К нам присоединились жившие по соседству помещики, и снова началось чаепитие. День пролетел, а я и не заметила, как. При свете луны, радуясь прохладе, мы долго играли в ловилки. Потом перешли на другие игры. Танцевали, пели по отдельности и хором. Одна женщина сплясала с офицером лезгинку. В повозки погрузились глубокой ночью и поехали домой. Мне почему-то стало очень грустно. Было такое чувство, будто я сделала что-то очень нехорошее, только понять никак не могла, что именно. Усталая голова соображала плохо, но душа почему-то ныла и страдала, не переставая... Сидевший рядом офицер всё говорил и говорил что-то, но я его не слушала. Народу в доме было много, кругом шум-гам.

Подавленная своим состоянием, я, ни с кем не прощаясь, ушла к себе и легла. Вытянувшись в постели, вспомнила, что сегодня не говорила с Пашой, и теперь ушла, не пожелав ему даже спокойной ночи. Возможно, он думает, что я участвую в сговоре против него? «Но такого не может быть!» — утешала я себя. Внутренний голос, однако, возразил: «Может!» — Решив завтра непременно объясниться с другом, я повернулась на бок. Шум в доме всё не

умолкал. Не дом, а улей какой-то! Тишина установилась не скоро... Я несколько раз принималась дремать, но тут же просыпалась в испуге. Завернувшись в одеяло, закрыла глаза, но сна не было. Я бредила, путая сон с явью. Наконец вскочила вся в поту, с пылающей, как огонь, головой. Раздвинув занавес, распахнула окно. Луна тотчас ворвалась в комнату, наполнив её печальным светом. Прохладный воздух, пощекотав глаза, побежал по телу. Я зябко поёжилась.

Одевшись, решила взглянуть на текущие по небу бело-серые облака, посеребрённые лучами луны, на дремлющие деревья. Я вспомнила детство... Представила себе свой первый сахяр. Всёго лишь неделю назад я была так счастлива, так спокойна. Откуда это недовольство собой? Что случилось, что такого произошло в моей жизни, что натворила я? Стала перебирать в уме своих близких. Кто они, окружающие меня? Всё эти родственники, гости? Чем живут они, и что у них за душой? Если рассматривать их как единое целое, то получится: мужчины-курильщики и крашенные жеманные женщины, говорящие глупости. И я среди них — будто заперта в гадком вагоне четвёртого класса без окон и дверей... Мне стало жутко, я задрожала, душа наполнилась отвращением к вони и грязи. И деваться от них некуда — вот что приводило меня в отчаяние!.. Я без сил упала на стул. Луна залила меня лучами. Ветерок шевелил верхушки деревьев, и они отзывались тихим скорбным шелестом. Сова вдали всё кричала и кричала, предвещая недоброе. Я встала и зачем-то выглянула в окно. Мне показалось: в саду тихонько движется чья-то тень. Было приятно, в минуту одиночества и отчаяния ощущать рядом кого-то ещё. Казалось, человек послан, чтобы спасти меня. Я стала ждать, когда он приблизится, чтобы узнать, что это. Вот тень вышла на открытое залитое светом место. Чудеса! Да это же Паша... Он остановился и долго неподвижно смотрел куда-то. Может, на луну, звёзды? Вот он, похоже, перевёл взгляд на мои окна!.. Я выглянула из окна — он вздрогнул. Я спросила тихо:

— Это вы?

— Да, — проговорил он.

— Я выйду сейчас! — сказала я.

Не понимая, что делаю, накинула на плечи платок и, забыв снять шлёпанцы, поспешила к нему.

Паша не сдвинулся с места. Его била дрожь, он не мог справиться с зубной дробью. Руки были холодны, как лёд. Чтобы помочь ему справиться с волнением, спросила:

— Почему не спите?

— А вы почему?— ответил он вопросом.

— Устала,— сказала я, — народу было много, просто голова пошла кругом.

Тихонько переговариваясь, мы прошли в беседку и сели на излюбленное наше место, скрытое от посторонних глаз густой листвой.

Я хотела объясниться, сказать, что не имею никакого отношения к травле и попросить прощения, но не смогла. Вместо этого напустила на себя вид, будто ничего не произошло, всё в порядке.

Паша же, волнуясь, заговорил:

— Туташ, вот уже три дня я не вижу вас, не могу говорить с вами... Но за это время я много чего увидел, глаза мои открылись. Я принял было для себя решение уехать, но выполнить не смог. Мне ведь уже пора, давно пора бежать от этих чужих мне, враждебных людей, которые откровенно издеваются надо мной. Но я не смог этого сделать, хотя и пытался несколько раз. Не могу и сейчас. Маленькая надежда удерживала меня, заставляла терпеть унижения. Вы — здесь, и это обстоятельство притягивает меня к этому месту. Я, как бабочка, лечу на огонь, хотя и знаю, что он спалит мне крылья. Что делать, туташ, так получилось... Я остался не ради того, чтобы лишний раз поймать взгляд ваш, увидеть улыбку... Если бы не приехали эти новые гости, если бы не знал, какие планы готовятся здесь, я бы, как раньше, продолжал уважать вас издали, надеясь на встречи. Но как уехать, не рассказав вам всёго,

что знаю? Переживая за вас, я не сплю уже три дня. Я понял, что люблю вас так глубоко, что не представляю себе жизни вдали от вас.

Я не ожидала услышать столь пылкое признание... Вернее, я знала, что услышу его когда-нибудь, но теперь не была готова. Я растерялась и молчала, не зная, что сказать.

— Вот почему, — продолжал он, — я готов был терпеть унижения, не решался оставить вас посреди этого смрадного болота, зная, какая беда угрожает вам. Это было свыше сил моих. Вы, туташ, — цветок, выросший на болоте. Вокруг вас топь, жижа болотная, вы пьёте гнилую воду и дышите ядовитым болотным воздухом. Здесь не место цветку. Вы будете цвести только при условии, если уйдёте отсюда! Так пойдёмте же, туташ! Обопритесь на мою руку!..

— Да нет же, поверьте, всё не так уж плохо, — сказала я с сомнением.

Он пересказал мне всё, что видел и слышал. По его словам, выходило, что завтра или послезавтра офицер будет просить моей руки и получит согласие отца. Паша объяснил, что тётка не зря так старается. Я и сама чувствовала, что всё идёт к этому, но поскольку какими-то невидимыми нитями была крепко привязана к этому дому, к родственникам, к этой среде, не сумела оценить доброты и сердечного порыва юноши.

— Мы ещё поговорим об этом, — сказала я уклончиво.

В это время послышались чьи-то шаги и тихие голоса. Мы притаились. Не для того, чтобы подслушать, а боясь выдать себя. Незвестные вошли в павильон, сели на скамейку и тихими голосами продолжили разговор. Это были моя тётя и её кум мурза. Слова кума мы не разобрали, зато тётку слышали хорошо.

— Согласие невесты я получила. Об этом вообще нечего говорить... Но не забывай, я — вдова полковника. Жить на пятьдесят рублей пенсии не могу... Нет, не могу... Вот если жених и ты выдадите мне вексель на сорок тысяч, возьмусь устроить свадьбу... А если нет... Я не могу допустить, чтобы меня

выкинули на улицу... Когда Гульсум выйдет замуж, кем буду я?.. Нет! — сказала она.

Кум возразил что-то, тётя ответила:

— Я же говорю, он болен, наш Гали. (Она говорила о моём отце.) Болен. У него слабое сердце. Стоит ему сегодня выпить на полрюмки больше, как завтра его не будет... Я не могу надеяться на него. Завтра дадите вексель — всё будет в полном порядке.

Паша посмотрела мне в глаза. Я побледнела. Хотелось выйти и крикнуть:

— Хочешь продать меня за мои же деньги?!— Но я не вышла и не крикнула. Ноги мои дрожали, зубы стучали. Те двое уладили своё дело и пошли прочь, тихо переговариваясь. Паша пожалел меня, не сказал ничего, что могло бы усилить моё огорчение. Мы встали и молча побрели по саду. У калитки остановились, чтобы разойтись. Тут в комнате офицера зажёгся свет. Сквозь прозрачную занавеску видны были головы офицера и бесстыжей девицы. Меня словно молнией ударило. Чтобы не упасть, ухватилась за дерево. Паша молча смотрел на меня.

— Вы поняли? Болото это не для вас, туташ! Вам нужен другой воздух. Пойдемте! Он крепко сжал мою руку. Дрожа всём телом, я грустно взглянула на него. После долгого молчания сказала:

— Я сейчас плохо соображаю, давайте отложим разговор на завтра. — И убежала в дом.

У меня появилось ощущение, которого не знала раньше: я почувствовала себя униженной. Меня собирались продать, как овцу. Но я ничего не могла изменить в своей жизни и страдала от собственного бессилия, сама себе была противна, понимая, что никогда не смогу покинуть «болота», что нет у меня сил сбросить с себя мерзкую лягушачью кожу... В ушах продолжал звучать голос тётки, требующей за меня сорок тысяч, а в глазах стояла картина, увиденная в окне: офицер с русской распутницей. Полный надежды голос Паши искренне желавшего помочь, звучал как благословенный рог, как

предупреждение ангела. Он ласкал, нежил мою израненную душу, исцелял её. Из глаз полились слёзы. Сначала я плакала навзрыд, потом — тихо и очень долго. Немного успокоившись, легла, и снова меня одолели дурные видения. Сдержать слёзы было невозможно. Решила одеться и пойти в сад, чтобы разыскать Пашу и просить, умолять его: «Давай уедем отсюда!» Но, подойдя к двери, переступить порог не решилась. Опять страдала и плакала.

Рассвело. Вошло солнце. Защебетали птицы, зажужжала пчела. Я так и не сомкнула глаз. Чтобы успокоить свои распухшие, покрасневшие от слёз глаза, умылась холодной водой и покрасила их сурьмой. Одеюсь, постаралась придать лицу беззаботное выражение, но, увидев в зеркале пожелтевшее лицо, глаза, полные тоски и безнадёжности, залилась невольными слезами. Хотелось кому-то излить свою тоску, плакать, обняв кого-то за шею, чтобы понял, как тяжело мне и как больно. Я вспомнила умирающую маму. Казалось, грустные глаза её глядят на меня с жалостью. Я ощутила своё сиротство, и снова на глаза навернулись слёзы. Хотела пойти к отцу и рассказать ему всё. Но между нами не было большой близости, и я передумала.

Раздался стук в дверь. Вошла тётя в красной блузе с взбитыми кудрями. Комната наполнилась запахом духов и пудры. Я взглянула на неё со страхом. В ту минуту она показалась мне толстой еврейкой, какие содержат в больших городах дома терпимости, и была отвратительна.

— Пойдём,— сказала она, — гости встали. Поторопись! Всё хотят чая!
— И потрогала мой воротник, будто поправляя.

Хотелось крикнуть: «Пошла вон, бессовестная!», но я не смогла.

— Ладно, сейчас,— сказала я и, подушившись ещё раз, медленно спустилась в столовую. Шумные гости встали и пропустили меня. Офицер подошёл и чмокнул мне руку. Стало противно, словно он испачкал меня своей грязной слюной. Паша пожал мне руку дрожащей ладонью, глубоко заглянул в глаза. Молча выпили по чашке чая, офицер, как всегда, говорил что-то, но я не слышала. Тётя смеясь, обратилась ко мне, но я не ответила.

После чая отец позвал меня к себе. Тётка уже сидела в его кабинете, покачиваясь в кресле-качалке, и говорила что-то. Увидев меня, отец приветливо улыбнулся.

— Садись, Гульсум, как дела? — начал он и остановился, не успев договорить. Тётя тут же бросилась на выручку. Смеясь, затараторила, но сути дела почему-то не высказала тоже. Расхваливала кума своего и его сына-офицера.

Тут после стука в дверях появились кум тёти в новом с иголки мундире и офицер. Кум сказал по-русски:

— Простите, юноша этот необычайно стеснителен, не может рассказать о своих чувствах, хотя внутри просто сгорает...

Офицер, как солдат по команде, быстро подошёл ко мне и, встав на колено, проговорил по-русски:

— Позвольте мне стать рабом вашим, не лишайте счастья! — И целовать мою руку.

Я растерялась. Тётя, спеша вывести меня из затруднения, сказала:

— Вы смутили девочку, ведь она ещё ребёнок, конфузится. Видите, покраснела? Это знак согласия... Пусть Аллах даст вам любовь.

Я открыла глаза, подняла голову и, снова почувствовав себя униженной, с дрожью в голосе сказала:

— Простите меня, но я никогда не буду вашей женой. Никогда! — Глаза мои налились слезами. Я вскочила. Мне показалось, что я забыла добавить ещё что-то. Повернувшись, увидела сникшего, будто уменьшившегося в размерах отца, покрывшуюся красными пятнами тётю, приунывшего кума, растерянного офицера.

— Никогда! — снова крикнула я и, убежав к себе, заперлась.

Внизу поднялась кутерьма. Люди бегали туда-сюда, что-то говорили, кричали, орали, стучались ко мне. Я не отвечала. Лежала и плакала, плакала. Голова горела, тело билось в ознобе. Мне становилось то жарко, то холодно, я потела и мёрзла, была словно в бреду. В дверь постучали снова. Я лежала, не

шелохнувшись... Но вот почудилось мне, будто под окном звенят бубенчики. Слышался какой-то знакомый голос. Подошла, а там Паша на крестьянской телеге, запряжённой плохонькой чувашской лошадёнкой. Я напугалась: уезжает! Последняя моя надежда покидает меня!..

— Не уезжай, останься! — Мне было так тяжело, что я готова была повеситься с горя. Открыла дверь и снова застыла на пороге, не в силах перешагнуть его. Ноги дрожали, сердце гулко стучало... Надо было хотя бы попрощаться, сказать: «До свидания!» Я метнулась к окну, но не могла выжать из себя ни слова. Паша обернулся, чтобы ещё раз взглянуть на моё окно, и лошадь тронулась. Я упала без сил. Опять стук в дверь. Снова послышался звон бубенчиков. Я была в бреду, не понимала, день сейчас или ночь.

На другое утро, когда я спустилась в столовую, в доме из гостей не оставалось никого. Тётя выглядела старой, увядшей, на отце не было лица. Мы сидели молча. Вечером отец объявил:

— Я еду в Петербург. Завтра.

Мне не хотелось оставаться с тётей, и я сказала:

— Папа, я не хочу быть здесь без тебя.

— В таком случае я тоже поеду,— заявила тётя. — Разве можно оставлять взрослую девушку без присмотра?

— Я вышла, не проронив ни слова.

На другой день мы втроём отправились в Петербург, даже не простившись с соседями.

Перед самым отъездом одна из служанок сказала мне:

— Туташ, джигит, который жил на чердаке, просил передать вам письмо, но ваша тётя забрала его у меня.

— Что же было в тот день?— спросила я служанку.

Та принялась было рассказывать:

— Такого позора я в жизни не видала.... — Но тётя не дала ей говорить.

В Петербурге я ждала от Паши письмо, уверенная, что он напишет. Ждала неделю, две, месяц, но вестей не было. Осенью, когда начались занятия, я узнала от студентов, что он уехал из Петербурга.

— Куда? — спросила я.

Кто-то сказал: в Москву, кто-то — в Киев. Так Паша пропал. Вместе с ним пропала моя надежда. Печально прошла зима. И вот однажды утром получила телеграмму. Отец в это время был в отъезде. Телеграфировал начальник какой-то станции: «Отца вашего обнаружили в поезде мёртвым. Приезжайте быстро таким-то поездом».

Новость потрясла меня настолько, что я лишилась чувств.

Когда пришла в себя, отец уже был доставлен домой. Мулла в его изголовье читал Коран. Я, как тень, бродила по комнатам, не понимая ничего, ничем не интересуясь, не зная, как убить время. Приходили какие-то люди, говорили что-то, никого из них я не знала. Вот прошла ночь, длинная, тёмная, очень тяжёлая ночь.

Принесли газету. Там рядом с нашим с тётей объявлением о траурном обряде большими буквами было написано: «Супруга покойного Надежда Ивановна, а также его дети Коля и Лиля объявляют о кончине дорогого мужа и отца, траурный обряд по которому состоится в такой-то мечети». Новость меня чуть с ума не свела — я плакала, страдала, чувствовала себя униженной. И в самом деле, во время жёны рядом с нами сидела русская женщина с двумя детьми. Какие-то неизвестные мне русские мужчины и женщины высказывали ей соболезнования. Она отвечала им плаксивым голосом.

Состоялся суд о наследстве. Поскольку я была единственной дочерью отца, всё его состояние должно было отойти ко мне. Та женщина подала на меня в суд. Мать двоих детей говорила об отце очень плохо, порочила его имя. Я почувствовала себя оскорблённой и заплакала. Дети женщины плакали тоже. В голову мне пришла мысль: а не доводятся ли эти дети мне братом и сестрой? Суд вынес решение в мою пользу, но в душе я сомневалась в

справедливости такого решения, и это волновало меня. Сама женщина оказалась грубой и наглой. Поговорив с ней, я ничего толком не поняла.

В эти тяжёлые дни я всё ещё надеялась на поддержку Паши. Сообщения о смерти отца, о суде были в газете. Хотелось верить, что Паша прочтёт их и отзовется. Но ждала я напрасно. Вскоре, устав от жизни и от тёти, решила провести зиму в Уфимской губернии у дальнего родственника отца... Там немного пришла в себя. Однако сознание того, что я осталась одна-одинёшенька во всём белом свете, угнетало. Мне было плохо. И вот однажды в летний день встретила теперешнего мужа своего. В то время он был чрезвычайно внимателен ко мне, делал вид, что страдания мои трогают его. Он очень скоро втёрся ко мне в доверие и попросил руки. Я не испытывала к нему никаких чувств, но одиночество было невыносимо. Я боялась, что отчаяние вынудит меня вернуться к тётке, и дала согласие. Сыграли свадьбу... Однако ещё и медовый месяц не кончился, а я уже знала, что муж мой — горький пропойца. Я поняла, что, как говорится, из огня попала в полымя. Вот уже десять лет тащу на себе это бремя. Сколько ещё выдержу, не знаю».

Женщина закончила свою исповедь. Глаза её были полны слёз, она заплакала, пытаясь сдержать рыдания.

— Может, ещё наладится всё, иншалла, — участливо сказала Нафиса, но Гульсум возразила сквозь слёзы:

— Чего теперь ждать? Молодость погублена, силы кончились, денег нет. Всё, что у меня осталось, это они, — сказала она, кивнув на детей. — Но что из них, детей алкоголика, получится? — Она снова заплакала.

Нафиса дала ей воды. В утешение сказала ещё какие-то добрые слова. Гульсум немного успокоилась.

— Я одного не поняла, — сказала Нафиса, — почему джигит всё же не написал вам? Почему не сделал попытку встретиться? Может, обиделся на что-то?

Гульсум вскочила:

— Он писал! Много раз писал. Года четыре или пять назад, когда я была уже замужем, встретила нашу общую знакомую в прежние времена, курсистку. Она рассказала мне. Он писал, но я его писем не получала. Думаю, всё они попали в руки тётки. Поскольку ответа от меня не было, он, видимо, подумал, что я тоже из компании его недругов. Да уж и как тут не подумать... Это тоже несчастье, большое моё несчастье,— сказала она и снова заплакала.

Обе женщины проговорили всю ночь. Завтра они придут на место. Одной новый день сулил радость, другой — лишь новые страдания.

Но вот рассвело. Утро выявило на рано отцветшем лице Гульсум множество морщин, тогда как озарённому счастливой улыбкой лицу Нафисы придало новые краски, делавшие её моложе своих лет.

Небо было ярко, как изумруд. Напитанные влагой луга и поля помолодели, леса красовались своим пёстрым осенним нарядом. И река, бесконечно долгий Идель, повидавший на своём веку немало вёсен и осенней, даже он лениво раскинулся под ласковыми лучами солнца, словно устав от своего вечного жребия — катить и катить волны. Чайки, окружившие пароход крикливым беспокойным хором, летали, как бы переговариваясь с высыпавшими на палубу людьми. На ближайшей пристани надо было выбираться на берег, поэтому Нафиса и Гульсум заранее одели детей и стали ждать, когда приблизятся к маячившему вдали дебаркадеру. Две женщины, случайно встретившись на пароходе и вместе проведя длинную тёмную ночь, разговорившись неожиданно, поведали друг другу свои самые затаённые секреты и стали близки, словно старинные школьные подруги, дороги друг другу, как родные. Вот пароход подал длинный печальный гудок. Дети Нафисы запрыгали, крича: «Мы к папе приехали, к папе!» А дети Гульсум жались к матери, будто страшась встречи с каким-то чудовищем, и спрашивали: «Мама, а папы нет там? Не надо его!»

Пароход, красиво развернувшись, пошёл к берегу. Гульсум с Нафисой стали всматриваться, выискивая глазами: одна — человека, который подарил ей счастье, покой, дружбу, по которому успела соскучиться так, словно не

видела целый век; другая — того, кто погубил её молодость, превратив за короткое время в старуху, беду свою, чёрную судьбу. Радостное ожидание, сладостные мечты зажгли в глазах одной мягкую тёплую улыбку. У другой в глазах появился испуг, а лицо, похоже было, свело судорогой от боли.

Дети Нафисы первыми увидели отца.

— Папа! Папа! — закричали они. И Нафиса помахала платком. С пристани ей ответили таким же приветствием. Глаза супругов встретились, и выражение их было такое же, как тогда, в театре. Они улыбнулись друг другу.

Нафиса забыла о Гульсум.

Завидев на пристани пьяного в полувоенной одежде, который, слоняясь по причалу, пытался обнять русскую торговку пирожками и яблоками, Нафиса засмеялась. Человек кричал что-то, приставая к посторонним, а те грубо отпихивали его.

— Гульсум ханум, Гульсум ханум! Взгляни-ка на того глупца! — смеялась Нафиса, но, повернувшись к подруге, вдруг осеклась. Та стояла бледная, сама не своя: губы синие, в глазах отчаяние. Нафиса смотрела на неё с удивлением. Гульсум повернулась и, не желая разговаривать, отошла. Забрав вещи, детей, она пошла на выход. Нафиса осталась ждать мужа.

В толпе людей, идущих на берег, доктор увидел Гульсум и пытался вспомнить, где же он мог видеть эту женщину. Она взглянула в его сторону, и вдруг в исхудавшей немолодой женщине доктор узнал нежную и лёгкую, как бабочка, восемнадцатилетнюю Гульсум, в жертву которой готов был принести когда-то свою жизнь. Хотя она держала за руки детей, он сказал:

— Гульсум-туташ, вы ли это? — и протянул ей руку. Пожав холодную, как лёд, ладонь, он остановился в недоумении, увидев, как сморщилось её лицо в неестественной улыбке. Ему стало жаль её. — Так вы ещё здесь? — спросил он.

Не успела она ответить, как пьяница в шинели в оторванными погонами приблизился и толкнул доктора, собираясь взять из рук Гульсум вещи. Доктор, решив, что хулиган собирается поглумиться над женщиной, как только что

глумился над торговкой, сделал попытку защитить Гульсум. Лицо пьяницы налилось кровью:

— Это жена моя! Моя!— заорал он по-русски и снова толкнул доктора. Потом взял из рук жены вещи. Доктор с изумлением уставился на женщину. Та, боясь повстречаться с ним взглядом, быстро взяла мужа под руку и пыталась увести его.

Тут появилась Нафиса с детьми. Малыши обняли отца, засыпали вопросами. Нафиса, оказавшись в объятиях мужа, спросила, весело взглянув на него:

— Ну, как ты, здоров?

Снова поднялся шум. Пьяница, отцепившись от жены, сидел посреди моста, ведущего на берег, широко расставив ноги и покачиваясь, как маятник, мешая людям ходить.

— Стойте! Стойте! — кричал он. Глядя на торговок, бил себя кулаком в грудь, хвастаясь: — Понимаете, я потомственный почётный дворянин!..

Народ остановился в замешательстве. Дети Гульсум ревели. Нафиса, оставив мужа, быстро подошла к пьянице и взяла его под руку, говоря что-то по-татарски. Дорога открылась. Пьяница взял под козырёк и пытался поцеловать женщине руку. Нафиса, крепко вцепившись в него, вывела с моста. Всё — Гульсум с мужем и детьми, Нафиса с детьми — остановились возле тарантаса доктора.

— Как поедем? — спросила Нафиса мужа. — Нельзя же бросать Гульсум-ханум с детьми.

Решено было до поворота ехать вместе.

— Спасибо, — пыталась отказаться Гульсум. — Не беспокойтесь, мы привыкли.

Но Нафиса не стала её слушать. В коляску усадила детей, доктора и Гульсум. Она почти силой усадила пьяницу в тарантас. Тот вылез и стал орать, требуя жену к себе.

— Я сама желаю ехать с вами,— заявила Нафиса и села рядом.

Дети в коляске без умолку галдели о чём-то, а Гульсум с доктором ехали молча, углубившись в воспоминания. В тарантасе пьяница громко выкрикивал какие-то угрозы, ругательства, размахивал кулаками и залился, наконец, пьяными слезами.

— Вы — золотая женщина, вы — счастье. — Он поцеловал Нафисе руку.
— А что моя жена? Тряпка! Сгубила она меня... — жаловался он сквозь слёзы.
— Вот если бы вы встретились мне, мы с вами жили бы припеваючи...

Нафиса в жизни не видела ничего подобного. Пьяница был противен и жалок ей. В конце концов, жалость одержала верх. Она стала утешать его. Тот, по-видимому, понял всё по-своему и засмеялся. Он слушал её сочувственные, добрые слова, разинув рот, и постепенно задремал, преклонив голову ей на плечо. Нафиса задыхалась от запаха перегара, ей хотелось столкнуть пропойцу на дорогу, но она терпела из жалости. Тяжёлая голова очень мешала ей. «Пусть бедолага поспит», — утешала она себя.

Сидя одиноко в тарантасе, она задумалась о Гульсум и об этом существе, потерявшем человеческий облик. «Почему не смогли они как-то поладить? — размышляла она. — Чего им не хватало? Оба образованные, получили хорошее воспитание... Оба были молоды... Почему?» В голове кружилось много ответов, но ни один не казался ей убедительным... Нафиса переключилась на себя. Перед глазами прошла вся её жизнь, начиная с юных лет. Она радовалась, что ей повезло с мужем. Хотелось теперь же бежать к человеку, подарившему ей счастье, припасть к нему с благодарностью, почтительно поцеловать руку. За удачную судьбу свою ей хотелось встать перед кем-то на колени и благодарить за то, что каждый её день наполнен любовью; за то, что семья — муж и дети — живут, радуясь, тихо и спокойно. Кому-то говорить: «Спасибо, спасибо тысячу раз, что я не стала такой, как эти двое, ведь они тоже люди и могли быть, счастливы, как мы. Спасибо, что не дал мне столь горькой судьбы».

Растрогавшись, она принялась читать суры из Корана. Повозка катилась против ласкового осеннего солнца, дул легкий ветерок. Отвратительный запах

изо рта мужчины мешал ей. Казалось, священные слова оскверняются, попадая в его открытый рот. Она осторожно, боясь разбудить пьяного, отвернула его голову от себя. Непонятные слова Корана, в особенности мелодия его, мягко согревали душу, наполняли благодатным покоем, который невозможно описать словами. Женщина, погрузившись в молитву всё своим существом, произносила её всё громче и громче. Стук колёс придавал мелодии Корана некий ритм. Тихий ветерок подхватывал священные звуки и уносил вдаль. Нафиса склонялась в поклоне своему Тенгре.

Пьяница захрапел. Вонь из его рта с новой силой ударила Нафисе в нос. «Что бы я делала,— с содроганием подумала она, — если бы муж мой был таким?» Молитвенно сложив руки, она обратилась к Аллаху на родном языке, и принялась умолять его, чтобы счастье, которое он дал им, длилось вечно. Душа её умилилась, из глаз выкатились слезинки. С ними пришло успокоение. Она вытерла глаза и дочитала молитву до конца. Страх растаял, словно облачко на весеннем небе. Солнце её жизни засияло снова.

Лошади продолжали бежать. Пьяница храпел.

В коляске же разговор долгое время не клеился. Дети шалили, приставали к взрослым с вопросами: то о пролетавшей мимо птице, то о рябине, увешенной яркими, как коралл, гроздьями, но ни Гульсум, ни доктора от дум это не отвлекало. Завязать разговор всё же не удавалось ни как старым друзьям, ни как новым знакомым. События, разделявшие их, не позволяли сблизиться. Вот дети, убаюканные мягким покачиванием тарантаса, стали засыпать один за другим. Гульсум с доктором остались с глазу на глаз. Она теперь сожалела о том, что было столь откровенна с Нафисой. Неожиданная встреча с Пашой оказалась для неё лишь новым ударом судьбы и вызвала только смущение и растерянность. Гульсум не смела поднять голову и посмотреть другу в глаза, не могла начать разговор, повторяла лишь про себя: «Простите меня за всё, что было!» Собралась было произнести это вслух и уж раскрыла рот, но мысли вдруг спутались, и она забыла, что собиралась сказать. Ей хотелось бы скрыть правду, сказать: «слава Аллаху, всё у меня хорошо»,

но выходки пьяницы выдавали правду... И доктор, вначале собиравшийся было высказать обиду за то, что не получил ответа на свои многочисленные письма, увидев, как жестоко обошлась с Гульсум судьба, не посмел упрекнуть её, пожалел.

Вот сынишка Гульсум снова проснулся в испуге

— Он всёгда так просыпается,— пожаловалась она. — Вы — доктор, скажите, что с этим делать?

— Это связано с нервами,— проговорил он. — Ребёнку нужен покой.

Они снова замолчали, не зная с чего начать разговор. Наконец доктор спросил:

— Так вы что же, всё ещё здесь? А я слышал, что уехали.

— Да, это правда,— сказала она. — Я приехала только по делу.

Разговор снова оборвался. «Если бы вы хотели знать, как сложилась моя судьба, разве нельзя было выяснить, где я?»— подумала она, но говорить не стала.

— Когда умер ваш отец, — сказал доктор, — я отправил письма по адресу в Петрограде и сюда. Но ответа не было, и письма не вернулись... Гульсум залилась краской:

— Я не получала от вас ни одного письма взволнованно воскликнула она. С того самого дня — ни строчки... Я очень ждала... Думала, не оставите меня, как вы сами выразились, в болоте, очень ждала, не зная о вас ничего, не получая ни одного письма, — сказала она и снова уронила голову...

— Вы, вероятно, знаете, как уезжал я после того, как вы ответили офицеру отказом. Во всём виноватым оказался я. Всё осуждали меня, офицер приставал, требуя дуэли, старый мурза обзывался последними словами. Тётка ваша при всём народе указала мне на дверь со словами: «Пошёл вон!» После такого увидеть вас не было никакой возможности. Я написал вам письмо, указав несколько адресов, и оставил служанке.

— Письмо это тётя у служанки забрала, я его не видела,— сказала Гульсум.

— Ответа не было, и я снова написал в два адреса, и опять ничего не получил. Писал ещё. Ездил в Петроград, делал всё, чтобы увидеть вас. Ходил в театр, целыми днями караулил возле вашего дома, звонил по телефону. Всё напрасно. И вот однажды всё мои письма вернулись на мой адрес назад. Я не знал вашего почерка, поэтому не мог судить, кто это сделал. Услышав, что вы выходите замуж за какого-то кавказца, решил, что это ваших рук дело. Тогда я потерял всякую надежду. Жить в Петрограде стало очень тяжело, и я перевёлся в киевский университет. Даже после этого я продолжал посылать вам поздравления по праздникам, — сказал он.

Глаза Гульсум вспыхнули, лицо покраснело.

— Хотите — верьте, хотите нет, только клянусь всё, что вам дорого, я не видела ни единого вашего письма и ничего вам не возвращала, — сказала она, и из глаз её закапали слезы.

Доктор был растерян.

Тут лошадь остановилась, и кучер, обернувшись, сказал:

— Приехали. Вы расстаётесь здесь.

Гульсум вздрогнула: опять разлука! Ведь они только что нашли друг друга... Хотелось крикнуть: «Нет, не надо расставаться!» Она посмотрела на спящих детей, подняла глаза на доктора:

— Да, здесь пути наши расходятся!..

Как только коляска остановилась, дети — всё четверо — тотчас пробудились. Они, как котята, попрыгали на землю. Нафиса, подъехав, стала махать из тарантаса рукой, подзывая к себе. Доктор и Гульсум испуганно бросились к ней, думая, не случилось ли чего. Пьяница спал на плече Нафисы, а она сидела, притиснутая им, с неловко повёрнутой головой. Хотели спихнуть пьяницу и освободить Нафису, но она сказала:

— Тихо, осторожно! Принесите подушку, пусть спит, глядишь, протрезвится.

Доктор с Гульсум вдруг тоже прониклись жалостью. Они принесли подушку. Нафиса бережно переложила голову спящего со своего плеча на подушку. Её освободили из плена.

С самого начала, не подумав, Нафиса с пьяницей оказалась в тарантасе доктора. Теперь повозку надо было освободить. Посоветовавшись, решили пьянице дать выспаться, боясь, что снова начнёт буянить.

Время было раннее, день чудесный, коней пустили пастись на луг. Натаскали хвороста и разожгли костёр. У батраков взяли чайник, приготовили чай. КомпМама устроилась чаёвничать под ласковым осенним солнцем. Нафисе хотелось порадовать несчастную подругу, её болезненных детей, и она хлопотала так, словно принимала гостей у себя дома, — всё делала сама: выложив из корзинок, разложила угощение, усадила детей, раздала им сладости, и села разливать чай. Всём было весело, и чай удался на славу. Морщины Гульсум разгладились, щёки порозовели, на лице заиграла улыбка. Она вздохнула свободно. Чай ещё не был допит, а дети побежали в лес. Доктор с Гульсум, неторопливо шагая, тоже скрылись в лесу. Нафиса наводила порядок, поила кучеров чаем и в конце концов осталась одна.

Лес наполнился голосами детей. Гроздья рябины то тут, то там призывно выглядывали из-за обнажённых ветвей. Дети бросались в одну сторону, бежали в другую. Их манили несколько орешков, высоко висевших на кустах лещины. Малыши смешно пыхтели, пытаясь достать их. Белка, прыгавшая с дерева на дерево, вначале напугала детей, но потом они весело смеялись, глядя на неё, и пустились за ней вдогонку.

А Гульсум с доктором уходили всё дальше и дальше. Вот они разом остановились, словно наткнувшись на препятствие, и посмотрели друг на друга. Перед ними стояло большое дерево, горделиво красуясь своим нарядом из ярко-жёлтых листьев. Под ним в невысоких берегах бежала, извиваясь, речка. Запнувшись на повороте о корягу, она мелодично журчала. За ней раскинулся широкий луг, покрытый зелёным дёрном, на котором поблёскивали, переливаясь на солнце, капельки росы. А дальше стеной

поднималась лесная чаща из елей, с головы до пят закутанных в зелёные покрывала, берёз, обёрнутых в белые холсты, осин в нарядных трепещущих на ветерке платьях. Многоцветье повторялось тысячи раз, одни краски выглядывали из-за других, и всё это устремлялось вдаль, делая лес похожим на огромный букет или на толпу бегущих, обгоняя друг друга, дюдей в цветных одеждах. И доктор, и Гульсум смотрели перед собой, и видения прошлого оживали перед их мысленным взором. Места эти были знакомы им. Сюда приходили они когда-то на рыбалку. Гульсум в розовом платье с чуть встрёпанными волосами сидела на берегу. Крепкий, здоровый Халиль, помнится, вон с того камня закинул вторую удочку, и они долго стояли, погрузившись взглядами в воду, делая вид, будто наблюдают за серебристыми рыбками, а на самом деле смотрели на отражения друг друга, мысленно объясняясь в любви. Гульсум вытащила удочку с трепыхавшейся на крючке рыбкой. Рыбка прыгала-прыгала и, сорвавшись, плюхнулась в речку. А когда вода успокоилась, и они снова стали видеть друг друга, оба засмеялись. Руки их невольно встретились. Холодная ладошка Гульсум, попав в горячую руку Халиля, согрелась...

Гульсум с доктором посмотрели друг на друга. Он сказал:

— Мы же вон там рыбачили.

— Да, там, — отозвалась Гульсум и замолчала. Говорить она не могла — душили слёзы. — Я очень виновата перед вами, — заговорила она. — Конечно же, я не участвовала в гадостях, которые затевали против вас, но не сделала ничего, чтобы защитить... Простите... Я была так слаба. Теперь расплачиваюсь за это. — Она разрыдалась. Халиль обнял её за талию, положил её голову к себе на плечо. Как ребёнка, погладил по голове. Гульсум всё глубже уходила в его объятия, словно ища защиты. Он ощущал на своём лице её горячее дыхание, слышал, как сильно бьётся её сердце, видел сквозь мокрые ресницы грустный взгляд её глаз. Халиль тихонько повернул лицо Гульсум к себе. Щёки и губы их соприкоснулись...

Лес ожил. Послышались детские голоса. Мальчик и девочка Гульсум плаксиво звали:

— Мама! Мама!

Дети Халилия кричали:

— Папа! Где ты!

Это разбудило их. Оба испуганно отшатнулись друг от друга. Вдали слышался голос Нафисы:

— А-ау!

Гульсум испуганно дёрнулась, Халиль ответил:

— Ау!

Гульсум собралась с духом и, боясь упустить удобный момент, призналась:

— Я всёгда любила тебя, люблю и сейчас...

Халиль не успел ответить, помешала выскочившая из леса ватага малышей. Они бросились кто — к маме, а кто — к папе.

— Мы змею видели! — кричали они.

Халиль, посмотрев в глаза Гульсум, перевёл взгляд на детей.

— Теперь осень, Гульсум туташ. Посмотрите, на каждом дереве свои плоды и зреют они по-своему: рябина так, а яблони иначе!...— сказал он, и глаза его наполнились слезами. Словно соглашаясь с ним, над лесом пролетел свежий осенний ветер, забросав Гульсум пожелтевшими листьями.

Тут появилась Нафиса. Заметив их несколько растерянный вид, сказала:

— Чего вы тут приуныли?

В Гульсум пробудилось желание как-то подколоть эту счастливую, беззаботную женщину.

— Вспомнили молодость. Мы с Халилем-эфенде встречались здесь совсём молодыми, ещё по весне жизни. И вот осенью довелось опять, — сказала она.

— Вы что же, давно знакомы? — спросила Нафиса, взглянув на Халила.

— Да, я был тогда студентом! — ответил он.

— Так вот оно что, — протянула Нафиса. Чуть-чуть поколебавшись, она решительно взяла под руку мужа, другой рукой подхватила Гульсум.

— Пойдёмте, снова подвигаются тучи. Осеннее солнышко обманчиво. Муж ваш проснулся, — сообщила она Гульсум, и направилась к повозкам.

В дорогу готовились молча. Пьяница протрезвился и преврПапался в стыдливого человека, который не решался поднять глаза. Гульсум было горько, оттого что самые прекрасные, чистые переживания молодости внезапно вернувшись к ней, оборвались так резко. Последние надежды, ещё теплившиеся в глубине души, скрылись под осенними листьями и покинули её навсёгда. Она пригнулась ещё ниже под тяжестью своей судьбы.

Давно забытые за годы счастливой жизни с Нафисой воспоминания юности налетели на Халилю, словно бесовский вихрь, и взбаламутили безмятежную душу. Живое пламя сердца, всё ещё искрившее под толстой пеленой благополучия, вдруг оказалось оголённым. — Осенний ветер неожиданно сдёрнул пелену, огонь вырвался наружу и стал виден. Палёный запах горящего сердца ударил в лицо Нафисы. Халилю стало стыдно перед чистой, великодушной женой, ваятельницей их счастья. Он был восхищён её величием.

В Нафисе, всю жизнь верившей в людей, в доброту, Нафисе, десять лет замужества боготворившей супруга, холодный влажный ветер в осеннем, скудно убранном ягодами рябины и калины лесу, завёрнутом в саван из жёлтых листьев, впервые поколебал её веру. В душе пробудилось сомнение в верности мужа, а вместе с ним сомнение в доброте и порядочности людей вообще. Она не могла смахнуть своё разочарование, как ненужный сор. Знала, что не скоро избавится от него, и чувствовала себя так, словно заблудилась среди кривых углов и закоулков жизни. Улыбка сошла с её лица, а в душе угнездилось нечто досадное и постылое, чему и название-то подобрать невозможно. Невидимой молью пожирало оно её покой.

Они холодно простились и сели в повозки. Которые от развилки дороги устремились в разные стороны. Глаза из повозок смотрели пронзительно и

скрещивались, словно договаривали то, чего не могли сказать при расставании.

Нафиса с Халилем отъехали уже довольно далеко, когда она посмотрела мужу в глаза и спросила:

— Так это и есть твоя первая любовь?

— Да, — кивнул он. Помолчав, спросил: — А ты что же, ревнуешь?

Глаза Нафисы заблестели, на лице зарделся румянец. Голосом, похожим на стон, словно задела больное место, сказала:

— О, Аллах! К этой бедняжке, что ли?

Она помолчала, потом добавила:

— К убогой-то? — Но слово, видимо, показалось ей слишком тяжёлым.

Получалось, что она ударила человека, который и без того жестоко наказан судьбой, и она поправилась:

— К горемычной этой?..

Оба обернулись на дорогу, по которой ехала Гульсум. Осенний ветер кружил там, подняв в воздух, листья, соломинки, пыль. Он гнался за повозкой — вот-вот настигнет. А следом мчался уже новый порыв. Повозка исчезала из вида, осталась лишь дуга лошади, но вот пропала и она... Посеялся мелкий осенний дождь. За его пологом скрылось всё. Нафиса чувствовала, как по спине её побежал мокрый холодок. Она теснее придвинулась к мужу. Халиль обнял её одной рукой и привлёк к себе... Глаза их встретились и улыбнулись.... Обоим стало хорошо, тепло — приятно мирится после размолвки.

— Гони быстрее, — сказал Халиль кучеру, — пока сильный дождь не накрыл нас!

Кучер щёлкнул кнутом, лошади рванулись вперёд. Колокольчики залились звоном, тщетно пытаясь обогнать друг друга, будто они тоже спешили к дому, где так тепло, сухо и нет ветра.

Берлин, 1923

Перевод с татарского

Азалии-Килеевой-Бадюгиной

Перевод осуществлён по изданию:

Исхакый Г. Эсэрләр. В 15 томах. 5 том/төз.

Л. Гайнанова. — Казань: Татар. кит. нәшр., 2001